

Волна

Закн 46н 57
1990н 12

НЕ СОСЕР *Р*

12

1990

п 35 а

459



Волга

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ВОЛГА»

Издаётся с января 1966 года
САРАТОВ. ПРИВОЛЖСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

112

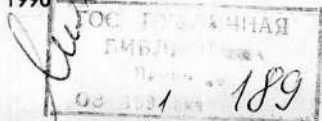
1990



КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Содержание

Владимир Алейников. СТИХИ	3
Закир Дакенов. ПОЛЕТИМ, КУКУШЕЧКА, В ДАЛЬНИЕ КРАЯ...	6
Владимир Попов. СТИХИ	58
Стивен Кинг. ДОМАШНИЙ АДРЕС: ТЮРЬМА. Окончание. Перевод с английского С. Таска	59
Геннадий Касмынин, Татьяна Бек, Владимир Жуков. СТИХИ	78
 Наши публикации	
Н. Валентинов. ВСТРЕЧИ С ЛЕНИНЫМ. Окончание	80
Георгий Адамович. «ЗАХОДИТ НАШЕ СОЛНЦЕ...» СТИХИ. Вступительная заметка и публикация В. Э. Молодякова	127
 Публицистика	
Юрий Никитин. КАК Я ВСТРЕЧАЛ ИНОСТРАННОГО ГОСТЯ	139
 Провинция и культура	
В. В. Лаврский. ЗАМЕТКИ К БИОГРАФИИ А. В. ПОТАНИНОЙ. Публикация, вступительная заметка и комментарии Н. Серебrenникова	146
Анатолий Василенко. ТИТ ТИТЫЧ И ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ	156
 Литературная критика	
Игорь Аристов. «Я ВЫЖЕГ ДУШИ, ГДЕ НЕЖНОСТЬ РАСТИЛИ...»	163
Ольга Седакова. ПАМЯТИ АРСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ТАРКОВСКОГО	174
 Среди книг и журналов	
Б. Борухов.— Е. Шварц. Стороны света. Стихи. В. Вахрушев.— В. Чалмаев. Андрей Платонов (к сокровенному человеку). С. Б.— «...Мне сейчас хочется тебе сказать...» Из переписки Бор. Пильняка и Евг. Замятина с Konst. Фединым. Публикация Н. К. Фединой. Вступительная статья и комментарий А. Н. Старкова. Н. Тяпугина.— «Волгарята». Литературно-художественный сборник.	178
ЖУРНАЛ «ВОЛГА» В 1990 ГОДУ	186
О НАШИХ АВТОРАХ	192



Н. Валентинов

Встречи с Лениным

Столкновение с Плехановым. Первая стычка с Лениным

Вскоре по приезде в Женеву я познакомился с В. Д. Бонч-Бруевичем. Сейчас он один из немногих старых большевиков, «не ликвидированных» Сталиным³¹. Он был тогда редактором «Рассвета» — ежемесячного журнала, выпускаемого по решению партийного съезда для пропаганды среди сектантов. Позднее Ленин и многие другие ставили на вид Бончу невыдержанное ведение журнала, и в конце 1904 г. он перестал выходить. Лично мне казалось, что лучшего редактора для такого специального журнала не найти. Бонч превосходно знал все сектантские течения России. Подобно палеонтологу, рассматривающему остатки вымерших животных, или ботанику, исследующему под микроскопом строение растений, Бонч, как с лупой, анализировал разные формы и содержания сектантской мысли, классифицировал их по отделам, подотделам, ища за туманными схоластическими, религиозными выражениями политический и социальный смысл. Весьма возможно, даже наверное, его эскизы мне покажутся сейчас грубыми. Тогда я этого не чувствовал: его классификация сектантского движения для меня была нова. К тому же плотная, «хозяйственная», купеческая фигура бородатого Бонча, сильно отличавшаяся от обычного вида «марксистов», мне была симпатична, как и его супруга В. М. Величина, которой, с каким-то подчеркнутым почтением, он говорил не «ты», а «вы». Кроме симпатии, было и чувство благодарности: благодаря Бончу я в течение некоторого времени имел небольшую платную работу в экспедиции «Искры». Моим рассказом о киевском кружке сектантов и о Семёне Петровиче Бонч живо заинтересовался.

— Батенька, да об этом непременно надо писать! Даю вам в «Рассвете» место на три большие статьи. В первой вводной обязательно дайте общий анализ сектантского движения во всём юго-западном крае, а потом во второй и третьей покажите ложность и казуистику сектантских вопросов и разверните картину ваших споров с Семёном Петровичем.

— Кроме кружка Семёна Петровича, я других сектантов не знаю. Я не могу дать что-либо существенное о сектантском движении во всём крае.

— Я вам дам материал. Без вводной статьи нельзя обойтись.

Эта первая «вводная» статья, написанная в конце января, появилась в мартовском номере «Рассвета» (за 1904 г.). Хотя у меня уже была, данная Лениным, партийная кличка «Самсонов», я подписал её «Н. Нилов», а Бонч сделал к ней следующее примечание:

«Тов. Н. Ниловым обещаны три статьи по вопросу о революционной работе среди сектантов. Эти письма нам особенно дороги как плод непосредственной работы нашего товарища среди сектантов».

Не так давно мне удалось отыскать «Рассвет» с моей статьёй в парижской Bibli-

Окончание. См.: «Волга», № 10, 11.

³¹ После Октябрьской революции до 1920 г. Бонч-Бруевич был управляющим делами Совета Народных Комиссаров. Попав за некоторые проступки в немилость Ленина — долгие годы был в тени. При Сталине его положение улучшается. Он делается директором Государственного литературного музея, а с 1946 г. директором Музея истории при Академии наук. С 1951 г. звезда его снова меркнет.

othèque de la documentation internationale contemporaine, обладающей самым богатым в Европе отделом русской революционной литературы. От статьи и всей её ортодоксии, как от невыносимо кислого яблока, буквально скулы свело. Она столь неряшливо и плохо написана, что могла бы сейчас быть помещённой в любом советском органе. Кончая её, я указал, что сектанты копаются в таких вопросах, которые от пропагандиста, имеющего с ними дело, требуют известной философской подготовки, и в следующих статьях я обрисую, с какими специфическими вопросами пришлось встретиться в киевском кружке сектантов. В отличие от первой «вводной» статьи, написанной наспех, без необходимого материала и знания, я много работал над двумя другими. Для них был живой материал, память сохранила даже малейшие детали споров, что полгода перед этим пришлось вести с Семёном Петровичем и его товарищами. Статьи были написаны, но в печати не появились. Они оказались косвенными виновницами моего столкновения с Г. В. Плехановым, а в связи с этим столкновением большим и неприятным спором с Лениным, первой стычкой с ним, которой уже намечались причины моего будущего ухода от большевизма. Со статьями, принесёнными Бончу в середине февраля, произошла следующая история. Прочитав их, Бонч поморщился.

— Во-первых, очень велики, а во-вторых, вы слишком много в них напустили философии. Их придётся послать на отзыв Плеханову.

Плеханов был официальным философом партии, высшим блюстителем её ортодоксальной теоретической чистоты. По статусу партии «Рассвет» был подчинён центральному органу партии — «Искре», а она с ноября 1903 г., после ухода из редакции Ленина, стала «меньшевистской». Большевик Бонч опасался, что в случае присутствия в моих статьях каких-либо философских «ересей», «Искра» придерётся к ним, чтобы показать, какие плохие марксисты находятся среди идущих за Лениным лиц. Исходя из этих соображений, статьи «товарища Нилова» с некоторыми сведениями обо мне Бонч-Бруевич и послал для «цензуры» Плеханову. Тот держал статьи долго, а потом (в начале марта) прислал Бончу следующую записку:

«Присланные Вами статьи заслуживают внимания. Их автор, видимо, занимался философией. Пошлите этого человека ко мне. Пусть придёт в такой-то день и час».

Выражение «пошлите этого человека ко мне» сильно меня покорило. Вместо «человека» было бы приличнее поставить «товарища». Всё же было приятно, что Плеханов усмотрел в статьях следы изучения философии. Я действительно его много занимался, и не один год, и историю философских систем знал лучше, чем, например, историю революционного движения. Визит к Плеханову, возможность с ним познакомиться мне представлялись делом очень интересным. В глазах русских социал-демократов он считался одной из выдающихся голов Социалистического Интернационала. В то время у нас, точнее сказать, в некоторой части молодых социал-демократов, «акции», например, Гэда и Лафарга котировались очень невысоко. Мой коллега по Киевскому комитету партии Н. Ф. Пономарёв даже находил, что пропагандистов масштаба Гэда и Лафарга можно найти в любом подпольном российском комитете, что, может быть, и не было так далеко от истины. Жореса мы знали очень поверхностно и, так как он не был «ортодоксом», к нему не прислушивались. Фигура Вандервельда, начинавшего свою политическую карьеру, была неясна. Бернштейна — библейского змия, соблазнявшего революционных Адамов и Ев впасть в буржуазно-ревизионистское грехопадение, опасались. Кто же тогда оставался на самом веру? Только трое: Бебель, Каутский и Плеханов, причём самым левым из них, о чём говорила яростная критика Бернштейна, считался Плеханов. «Левизна» сильно соблазняла, но сама личность Плеханова, носителя этой левизны, меня не притягивала. В неизмеримо большей степени меня интересовал Ленин. Происходило это оттого, что, в отличие от предыдущего, старшего «выпуска» социал-демократов — Ленина, Мартова, Старовера, Дана, — если называть только этих, входивших в марксизм при сильном влиянии на них Плеханова, для последующего выпуска он уже не всегда играл роль Иоанна Крестителя. Ввод в марксизм многих, в том числе и меня, происходил вне преобладающего влияния Плеханова. Я уже сказал, что с марксизмом в конце 1897 г. я стал знакомиться в Петербурге при посредстве М. И. Туган-Барановского, и у меня никогда не было ни того поклонения перед Плехановым, ни той влюблённости в него, которые так характерны в девяностых годах для старшего выпуска социал-демократов.

Я не считал его своим учителем и по другой причине. Утолить жажду, иметь не «взгляды», а «цельное», отвечающее на все вопросы мировоззрение представлялось невозможным без помощи философии, а даже самое первичное знакомство с нею в виде «Критики чистого разума» Канта, «Истории материализма» Ланге, история фило-

софии Льюиса, Вундта, логики Милля вело к полной неудовлетворённости тем, что о философских проблемах писал Плеханов. Его книга на немецком языке о материализме (я получил её от Туган-Барановского) с подавляющим влиянием на него мыслителей XVIII века — Гольбаха, Гельвеция, Ламеттри — отшатнула своей чужбностью. Большие и тонкие проблемы философии исчезли из его горизонта. Нельзя было отделаться от недоумения: как может большой и остроумный писатель иметь такую малосенскую философию? Я тогда же решил, что если бы не было другого выбора, а только: Плеханов или, как говорилось, «вульгарный Бюхнер», выбор пал бы на последнего. В его «Силе и материи» есть по крайней мере система, а не обрывки неясных, несогласованных положений, с излишком высокомерия бросающихся Плехановым. Отталкивание от его философии привело к тому, что его книга «К вопросу о монистическом взгляде на историю» (1895 г.), считавшаяся самым блестящим его произведением и увлекавшая других, не вызвала во мне никакого восхищения, оставила холодным. Когда я как-то сказал об этом Крупской, та от удивления рот раскрыла. Она увидела в этом мою неспособность понимать вещи высокой ценности. Она сказала об этом Ленину, у которого это вызвало такое же удивление.

Большое чувство неудовлетворённости оставил у меня Плеханов и своим решением вопроса о роли личности в истории, а этот вопрос в то время особенно интересовал, я бы сказал — *даже мучил*. П. Б. Струве, в период наибольшего пристрастия им марксизма, объявил, что на весах истории, с точки зрения социологической, личность, в сущности, *quantite negligible*. Плеханов опровергал такой взгляд. Он доказывал, что значение личности и тех, кого он называл «начинателями» (среди них он мыслил, конечно, самого себя) весьма значительно, но только тогда, когда личность отдаёт себе отчёт в продиктованном *необходимостью* ходе исторического процесса, становится «сознательным выразителем и орудием бессознательного процесса». «Свобода, — восклицал Плеханов вслед за Шеллингом, — есть осознанная необходимость». Всё это было очень гладко написано, но в первые годы знакомства с марксизмом порождало у меня чувство какой-то тоски, тяжёлой придавленности: воздуха нет, потолок давит, хочется отсюда выйти скорее. «Торжество социалистических идеалов, — пояснял Плеханов, — предполагает как своё необходимое условие независимый от воли социалистов ход экономического развития общества». Неужели всегда от их воли независимый и в какой степени независимый? Споры и разговоры о том приходилось вести и в Петербурге в 1898 г., и в Уфе в 1899 г. (с народником Ольшевским), и в Киеве. Если ход развития общества от социалистов не зависит, в таком случае — они пятая спица в колеснице? В молодые годы, когда брызжет энергия, роль пятой спицы особенно претит. По этой причине и была так симпатична книга Ленина «Что делать?», проникнутая буйным волюнтаризмом, провозглашавшая: «дайте нам организацию, и мы перевернём Россию».

Не могу не вспомнить жаркую полемику по поводу формул Плеханова весной 1902 г. в киевской тюрьме. Её пришлось вести с социалистами-революционерами — соседями по камере. Они доказывали, что в мировоззрении марксизма, в том виде, в каком его проповедует именно Плеханов, введён фаталистический элемент, принижающий роль личности, сковывающий её волю. Пылкий социалист-революционер Н. И. Блинов, трагически погибший во время еврейского погрома в 1905 г., был всегда зачинщиком споров на эту тему. Поддерживая престиж Плеханова, я всегда возражал Блинову, главным образом из партийного упрямства. «Признаёте ли вы, — спрашивал Блинов, — огромную роль во французской революции Робеспьера?» — «Конечно, признаю». — «Признаёте ли вы, это уже совсем в другой области, роль таких гигантов, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль?» Имена были слишком громки, чтобы и без большого знания о творчестве этих лиц и их роли в истории искусства, не сказать: «Конечно, признаю». «А если так, — торжествовал Блинов, — откажитесь скорее от идей Плеханова, своими ответами вы уже показали, что их не разделяете». В подтверждение он приводил следующие цитаты из статьи Плеханова «Роль личности в истории», под псевдонимом Кирсанова напечатанной в 1899 г. в журнале «Научное обозрение».

«Если бы случайный удар кирпичом убил Робеспьера, его место, конечно, было бы занято кем-нибудь другим, и хотя бы этот другой был ниже его во всех смыслах, события пошли бы в том самом направлении, в каком шли при Робеспьере», — писал Плеханов.

В таком случае, что такое Робеспьер? Пятая спица в колеснице. У колесницы ход, «независимый» от всех Робеспьеров. А вот другая цитата.

«Если бы какие-нибудь механические или физиологические причины ещё в детстве убили Рафаэля, Микеланджело и Леонардо да Винчи, итальянское искусство было бы менее совершенно, но общее направление его осталось бы то же».

В формулах Плеханова был какой-то экивок, что-то ложное, против чего прежде всего протестовал темперамент. Доводя аргументы Плеханова до нашего времени, нужно сказать, что если какие-нибудь «механические и физиологические» причины убили бы Ленина в 1903 г., Сталина в 1916 г., Гитлера в 1918 г., дальнейший ход событий был бы и без них совершенно таким же, двигался бы в том же направлении, как и при этих личностях. Согласиться с таким взглядом *невозможно*.

Было кое-что и другое, что не притягивало к Плеханову. Он был талантливым человеком, но большой ум его был холодным, смотрящим на мир через чёрствые рационалистические схемы. Свойственного нам, молодым социалистам, энтузиазма, восторженности, преклонения перед идеей, образом, даже словом «социализм», Плеханов, в том можно быть уверенным, совсем не испытывал. Социализм был для нас чем-то очень хорошим, тёплым, светлым, красивым и за эти качества желаемым. Социализм — освобождение, возрождение человечества под ласкающими лучами солнца гуманизма. Мы непрестанно ездил верхом на «экономическом факторе», но «экономика» была как бы некрасовской скатертью-самобранкой, ладбей, чудесно выносящей чрез капитализм, чрез море неравенства, бедствий, эксплуатации на лазурный берег будущего строя. Для нас социализм выражался глаголами *sollen, wünschen*. Для Плеханова он был не столько «долженствованием», сколько «исторической необходимостью». «Последователь научного социализма смотрит на осуществление своего идеала как на дело *исторической необходимости*». «Социалист служит одним из орудий этой необходимости». Что бы не происходило в капиталистическом обществе, оно неизбежно, с железной необходимостью, будет замещено социалистическим строем. Это своего рода фаталистический механизм, и мне казалось, что у Плеханова его было неизмеримо больше, чем у Маркса, и намного больше, чем у Ф. Энгельса. По Плеханову, вне зависимости от того, что делает или не делает личность, социализм — неотвратимый финал экономического развития современного общества. Присущие ему жестокие противоречия и классовая борьба неизбежно должны окончиться диктатурой пролетариата и социализацией средств и орудий производства. А дальше что? Это Плеханова не интересовало. «В социалистическом строе, — заявил он однажды Крупской (в 1901 г.), — будет смертельная скука: в нём не будет борьбы». Бедная Крупская чуть было не упала в обморок...

Таковы доводы, чувства, предубеждения, издавна, с первых годов знакомства с марксизмом не делавшие меня поклонником Плеханова. Однако познакомиться с ним, повторю, я очень хотел и в назначенный им день и час, точно, без минуты промедления, явился к нему. Меня ввели в большую темноватую комнату и попросили подождать. Прошло пять, десять, пятнадцать минут. Было слышно где-то стукание посуды и передвижение стульев, а потом гробовая тишина. Проходит двадцать, двадцать пять минут. Я начал от нетерпения ёрзать на стуле. Чтобы напомнить о себе, кашляю и громко сморкаюсь. Тишина. Проходит тридцать минут, и я решаю: буду медленно считать до 30, а после этого отворю дверь и уйду. Как раз в этот момент и появился Плеханов.

Я видел его впервые. Бросились в глаза густые, сросшиеся брови, имевшие, как у одного персонажа Мопассана, *"l'air d'une paire de moustaches placés là par erreur"*. Бросился в глаза особый, «натянутый» облик Плеханова. Он учился в военном училище, потом в юнкерском училище и, по словам Л. Г. Дейча, его старого товарища, стремился всегда сохранить военную выправку. Его не славянское, а скорее восточного типа лицо — грузина, осетина, узбека (в самой фамилии Плехан — нечто татарское) — ошеломило меня сходством с человеком, которого я хорошо знал. С кем? Георгий Валентинович Плеханов был удивительно похож на своего брата — Григория Валентиновича Плеханова — полицейского исправника. Вот судьба! Один брат — революционер и выдающийся член Социалистического Интернационала, другой — полицейский чин, обязанный охранять царское самодержавие от посягательств революции, руководимой его братом. Отец Плеханова, о чём я узнал позднее, был женат два раза, второй раз на Белинской, отдалённой родственнице знаменитого Виссариона Григорьевича Белинского. Георгий и Григорий Валентиновичи родились от второго брака. Кто из них был старше — не знаю. Сходство их внешнего облика, повторю, было поразительным. Главное отличие, пожалуй, в том, что Григорий Валентинович был ростом выше и всегда носил пенсне. Плеханова-исправника я знал очень хорошо. Свой

пост он занимал в городе Моршанске Тамбовской губернии, где жили мои родные, где я вырос и учился в реальном училище. В той же губернии, недалеко от города Липецка, в деревне Гудаловке, в помещичьей семье, родился 25 ноября 1851 г. и Георгий Валентинович Плеханов — «отец русского марксизма», с произведениями которого в начале 1889 г., как он сам мне сказал, впервые познакомился 19-летний Ленин-Ульянов.

Исправника Плеханова ни в коем случае нельзя было занести в галерею полицейских держиморд, описанных Щедриным. Правда, вид у него был важный и суровый, он горделиво носил военный мундир (и почему-то шпоры!), но по натуре своей был очень мягок, как говорится, не мог мухи убить. Мой отец — в то время уездный предводитель дворянства, всех и вся ругавший и презиравший, находил, что Плеханов относится к своим полицейским обязанностям с недопустимой халатностью. «Я даже допускаю, — сказал он однажды, — что сей вояка, бренчающий шпорами, находится в нежной переписке со своим братцем, который в Женеве крутит революцию». Так я узнал, что у нашего милейшего исправника есть опасный брат. И вот что в связи с этим я припоминаю. Это было в одно из воскресений весной, вероятно, в 1895 г. В такие дни вечером городской сад Моршанска с цветущей сиренью наполнялся обывателями, важно и солидно топтавшимися по главной аллее длиною не больше трёхсот метров. Из ресторана при саде оглушительно пахло жареными цыплятами и пирожками, а в павильоне военной духовой оркестр без устали трубил «Невозвратное время» и другие вальсы. Я сидел на скамейке против памятника основательнице города «матушки царицы Екатерины Великой». Плеханов, прогуливаясь, увидев на скамейке незанятое место, сел рядом со мною. Он приходил к нам довольно часто играть в винт с моим отцом и, конечно, знал меня. О чём он меня спрашивал, с чего начался разговор — совершенно не помню, только у меня «спонтанно» вырвалась такая фраза:

— Григорий Валентинович, а ведь если придёт революция, памятник царицы, наверное, повалят. Во время французской революции выбросили вон даже гробы королей. — Чтобы «легализировать» мою фразу, я тут же прибавил: — О таком безобразии нам на днях подробно рассказывал В. Д. Дейнеко (учитель истории).

Плеханов покосился на меня с видом полного удивления.

— Что за охота пустяки говорить! Если придёт революция? Да она никогда не придёт. В России не может быть революции. Она не Франция.

Плеханов говорил то самое, что вечно твердил мой отец, что в «Новом времени», самом влиятельном органе 90-х годов, весьма образно вещал его издатель Суворин: «Я скорее поверю в появление на Каменноостровском проспекте Петербурга огнедышащего вулкана, чем в возможность революции в России».

Если бы Суворин дожил до 1917 г., он смог бы увидеть «вулкан» революции и Ленина, произносящего «огнедышащие» речи с балкона дворца балерины Кшесинской именно на Каменноостровском проспекте.

Не знаю, какой чёрт меня толкал, но после реплики Плеханова я спросил его: — А ваш брат по-прежнему живёт в Женеве?

Не ожидал, что сей вопрос может произвести такой эффект. По лицу Плеханова пробежали смущение, даже страх. Думаю, что он никак не предполагал, что кто-нибудь знает (а если знаю я, то уже, наверное, знают мой отец и другие), что у него, исправника, такая политически его компрометирующая родня. Он поднялся со скамейки, выпрямился и совершенно так же, как во время публичных речей это делал Плеханов-женевский, деланно, неестественно толкнул ногой:

— У меня нет брата!

Быстро отошёл от меня и больше разговоров со мною уже никогда не вёл. Я ввожу в мои воспоминания эту историю с исправником Плехановым не потому, что одобряем неудержимым желанием болтать, погружаясь в прошлое. Она мне понадобится в дальнейшем, когда буду говорить об одном письме Ленина в редакцию «Искры» о карикатуре, нарисованной Лепешинским, и «скандальном» выступлении «Нилова», инспирированном Лениным.

И вот девять лет спустя после описанной сцены с Плехановым-моршанским я стоял перед его братом — Плехановым-женевским. Потому ли, что он был болен, в скверном настроении, чем-нибудь раздражён или просто потерял желание говорить о философии и пропаганде среди сектантов с каким-то Ниловым, посланным большевиком Бончем, Плеханов принял меня более чем холодно. Он не извинился, что заставил долго ждать его «выхода», а, подойдя ко мне, передал мою рукопись и сказал:

— Вы правильно анализируете схоластику сектантов и правильно отвечаете на

их мнимофилософские и всякие другие вопросы. Тут, как и во всём другом, только материализм и марксовская диалектика дают в руки действительно оружие.

«Аудиенция» на этом была окончена. Приглашения сесть и побеседовать я не получил. А так как моё самолюбие было задето и долгим ожиданием, и ледяным приёмом, я почувствовал острое желание перед уходом сказать в отместку Плеханову что-нибудь неприятное, такое, что должно было ему казаться вызывающей дерзостью. Холодным тоном, выражая ему благодарность за признание «правильности» моего анализа, я сказал, что «почитаю своим долгом» заметить, что в этом анализе философский материализм никакой роли не играл. «От этого материализма я окончательно ушёл уже несколько лет и теперь убеждён, что для экономической доктрины Маркса и его социологии, так называемого материалистического понимания истории, отнюдь не обязательным быть связанным с философским материализмом, гораздо лучшую гносеологическую основу даёт эмпириокритическая философия Авенариуса и Маха». Как и нужно было ожидать, такой наглости Г. В. Плеханов перенести не мог. Не он ли доказывал, что социология Маркса предполагает и органически связана с философским материализмом в его, Плеханова, понимании? Когда Плеханов услышал моё «наглое» отрицание этой истины, его брови, усы угрожающе поднялись чуть ли не до лопатки лба.

— Авенариус? Мах? Извлекая из подвалов буржуазной мысли этих птиц, вы хотите с помощью их «исправить» марксизм? — грозно спросил он.

— Почему же непременно из подвалов и почему буржуазных?

— Ну, знаете ли, это легко понять даже при самом небольшом напряжении мысли. Видите ли, знающие люди считают, что на вершине философской мысли стоят такие умы, как Кант, Гегель, Фихте, Шеллинг, Фейербах, французские материалисты, среди них ваших птиц нет. Значит, раз они существуют, то, нужно полагать, обретаются в какой-то более низкой, вероятно, очень низкой атмосфере. Я и назвал её подвальной. А что же касается их буржуазности, ничто не должно вам мешать догадаться, что я знаю всех философов, по духу, по направлению мысли связанных с революционным учением Маркса и Энгельса. Смею вас уверить, что среди них ваших птиц нет. Они существуют вне всякого касательства к марксизму. А вне — это значит, в атмосфере буржуазной идеологии.

— Из ваших слов я могу заключить, что с философией ни Авенариуса, ни Маха вы не успели ещё ознакомиться?

— Не успел, и всё как будто говорит, что я не смогу вам обещать знакомства с вашими птицами. Я занят по горло партийной и литературной работой. Я не имею ни времени, ни права заниматься пустяками, браться за чтение того, что иным людям по молодости, по недостатку опыта и знаний может казаться каким-то новым открытием, а в действительности является перепоём хорошо мне знакомых заблуждений.

Тон Плеханова (я со стенографической точностью передаю его слова, в своё время они были мною записаны) становился всё более и более дерзким. В свою очередь раздражаясь, я пустил в него «пупльку», которой уже пользовался в аналогичных спорах.

— Итак, вы не читали ни Авенариуса, ни Маха. Вы просто их не знаете. Вы сами это признаёте, что не мешает вам их критиковать и налепливать на них этикетку: «буржуазные подвалы». По этому поводу мне вспоминаются слова Гейне: «Писателя Ауффенберга я не знаю, полагаю, что он вроде Арленкура, которого я тоже не знаю».

Плеханов очень внимательно посмотрел на меня, скрестил руки и, отчеканивая каждое слово, сказал:

— Отвечу вам кратко. Вашего Ауффенберга я потому испытываю весьма малое желание знать, что очень хорошо знаю его духовных предков, его мамашу, которая, сражаясь с материализмом, философски обслуживает классовые интересы буржуазии. Какие у этой ведьмы и её потомков глаза — красные, жёлтые или белые, меня абсолютно не интересуют. С меня достаточно знать, что это порода ведьм. На этом и окончим наш разговор. Жаль, что у меня не было времени более внимательно ознакомиться с вашей рукописью. Стоило бы проследить, не сказало ли где-нибудь в ней буржуазное влияние вашего философа, как бишь его — Ауффенберга.

Мне оставалось раскланяться и выкатиться из квартиры Плеханова. Я отправился к Бонч-Бруевичу, который сердито накинулся на меня, когда я рассказал ему происшедшее.

— Чёрт вас дёргал за язык! К чему это было злить Плеханова, подсовывая ему

каких-то философов! Теперь, поверьте мне, он возьмёт вас на мушку, он непременно найдёт в ваших статьях какие-нибудь вредные ереси. Я уверен, что на этой почве у нас могут быть неприятности.

Причинять неприятности редакции «Рассвета», т. е. Бонч-Бруевичу, я менее чем кто-либо хотел. Сразу кончая с разговорами на эту тему, я взял мою рукопись и на глазах Бонча порвал её на мелкие клочки. Рвал по-глупому, с остервенением, досадой, раздражением. Бонч меня ещё раз ругнул, но, думаю, этим концом остался доволен.

На другой день, придя к Ленину, я, разумеется, рассказал о моём визите к Плеханову. Плеханов ему импонирует как никто другой, больше чем Каутский, больше чем Бебель. Всё, что тот говорил, делал, писал, его крайне интересовало. Он превращался в одно внимание, когда речь заходила о Плеханове. «Это человек колоссального роста, перед ним приходится съёживаться», — сказал он Лепешинскому. Пришлось рассказать, из-за чего весь сыр-бор разгорелся. Я должен был эту историю представить с самого её начала, т. е. с описания киевского кружка сектантов, роли в нём Семёна Петровича, его идей. Помню, что Ленин, засунув большие пальцы за борта жилетки около подмышек, стоял около меня (я сидел) и слушал с явным любопытством. По поводу веры Семёна Петровича, его деления людей на «злых» и «совестливых», возможности постронуть социализм только руками «справедливых людей» — Ленин что-то говорил. Припомнить его слова было бы сейчас нелепо. Я их не помню и думаю, особенно при отвращении Ленина ко всему морализованию, что его замечания по этому вопросу ничего особо интересного не содержали. Будь иначе, я их бы, наверное, запомнил. Наоборот, память превосходно сохранила то, что затем говорил Ленин, ибо тут обнаружилось моё первое с ним разномыслие, воспринятое мною с большой тревогой и неприятностью. Из него вытекало, что, несмотря на признание Ленина большим человеком, очень большую к нему симпатию, желание идти за ним и вместе с ним, есть весьма важные вопросы, отношение к которым Ленина меня отвращает. Я увидел, что как бы ни было в области партийной враждебно его отношение к Плеханову, Ленин незамедлительно, без колебаний встал на его сторону в области философии, притом в форме, произведшей на меня тяжкое впечатление.

— Вы заявили Плеханову, что материализм нужно заменить какой-то разновидностью буржуазной философии. Но ведь это вздор, вреднейший вздор! Плеханов трижды прав, дав вам немедленно отпор. Не нужно смешивать Плеханова, заседающего в компании оппортунистов в редакции новой «Искры», с Плехановым, после смерти Энгельса лучшим знатоком и лучшим комментатором марксистской философии. Несколькими фразами он вас отхлестал, и поделом! В этих вопросах у него нюх острейший. А я не знал — это для меня большая новость, — что и у вас склонность исправлять Маркса.

— Позвольте заметить, что Плеханов назвал теорию познания Авенариуса и Маха подвалом буржуазной мысли, даже не потрудившись с нею познакомиться, даже не прочитав ни одной их строки. Такое отношение к чужой научной мысли меня возмущает. Это — Шемякин суд.

— Во-первых, не думаю, что Плеханов не знает ваших философов. За философией он следит. А если он вам сказал, что не знает, вероятно, потому, чтобы подчеркнуть своё презрение к ним. Во-вторых, напрасно возмущаетесь. Мы теперь превосходно знаем, к чему ведут пробы соединения Маркса с чуждыми его духу теориями. Это наглядно показывает Бернштейн, а у нас хотя бы Струве и Булгаков. Струве от поправляемого им марксизма быстро скатился к самому пошлому воюющему либерализму, а Булгаков катится ещё в более мерзкую яму. Марксизм — монолитное мировоззрение, он не терпит, чтобы его разжижали, ополчали разными вставочками и приставочками. Говоря о какой-то критике марксизма, не помню уже о ком, Плеханов однажды мне сказал: «Сначала налепим на него бубновый туз, а потом разберёмся». А я считаю, что на всех, кто хочет колебать марксизм, нужно лепить бубновый туз, даже не разбираясь. Такой должна быть реакция всякого здорового революционера. Когда на своей дороге встречаете зловонную кучу, вам не требуется копаться в ней руками, чтобы определить, что это за вещь. Вы носом сразу чувствуете, что это г-о, и проходите мимо.

От слов Ленина у меня дыхание спёрло.

— Из огня Плеханова я попадаю в ваше полемя, — сказал я. — Плеханов говорит, что философы Авенариус и Мах, хотя они ему неизвестны, — ведьмы, и, какие у них глаза — красные или жёлтые, его не интересуют. А другой наш теоретик —

Ленин рекомендует, не разбираясь в их теориях, клеймить этих людей бубновым тузом. Вы всё время повторяете: буржуазная философия, буржуазные философы. Теория Авенариуса и Маха не есть какая-то метафизическая концепция, это попытка создания научной теории познания, основанной только на опыте. Прежде чем лепить на неё бубновый туз — попробуйте её узнать и в ней разобраться. Нет буржуазной или пролетарской астрономии, алгебры, физики или химии, нет и буржуазной теории познания. Речь может идти только о том — верна или неверна теория Авенариуса и Маха. Даже допустив, что в ней есть какие-то элементы, присущие буржуазному образу мысли, нельзя без предварительного доказательства клеймить её авторов, как преступников, бубновым тузом. Вы упомянули Булгакова. Будучи студентом Политехникума, я был одним из участников его экономического семинария. Он организовал его для студентов, желающих в области социальных наук знать больше того, что даёт в течение часа лекция по политической экономии. В этом семинарии мы при полной свободе ставили и обсуждали разные вопросы. И почти каждое наше собрание Булгаков открывал торжественным напоминанием: «Истина добывается честным, свободным, лояльным сопоставлением идей». Откровенно говорю: такой метод мне гораздо более по душе, чем ваш бубновый туз.

— Ах, вот как! Вы, значит, были в семинарии Булгакова. Ещё одна новость! Не поздравляю, не поздравляю. Не под влиянием ли Булгакова у вас и появилась склонность к исправлению Марксовой философии? Это скользкая дорожка. Социал-демократия не есть семинарий, где сопоставляются разные идеи. Это боевая классовая организация революционного пролетариата. У неё есть программа, мировоззрение, принадлежащий только ей строй идей. В ней на особую свободу критики и сопоставление идей — нечего рассчитывать. Кто вошёл в партию, должен следовать за её идеями, их разделять, а не колебать. Если они не нравятся — вот Бог, а вот порог, выход свободен. Мы хорошо теперь знаем, что скрывается за так называемой «свободой критики», которую требуют не пролетарские, а именно интеллигентские, заражённые буржуазными предрассудками элементы социал-демократической партии. Повторяю: молодец Плеханов. Он сразу почувствовал, что вас следует ударить.

— Владимир Ильич, смею вас уверить, ни в какой мере я ревизионизму не сочувствую. Если у меня есть симпатии к философии Авенариуса и Маха, то только потому, что она самым революционным образом сокрушает всякую метафизику. Познакомьтесь с нею, вы это признаете. Отвергая ревизионизм, всё-таки не думаю, что марксизм есть нечто застывшее, раз навсегда данное, исключаящее какие-либо изменения. Плеханов однажды писал, что марксизм есть абсолютная истина, которую уже не отменит никакой рок. Как вы относитесь к этой формуле? Как совместить её с диалектикой?

— Я полностью согласен с Плехановым. Маркс и Энгельс наместили и сказали всё, что нужно сказать. Если марксизм нуждается в развитии — то только в направлении, указанном его основоположниками. Ничто в марксизме не подлежит ревизии. На ревизию один ответ: в морду! Ревизию не подлежат ни марксистская философия, ни материалистическое понимание истории, ни экономическая теория Маркса, ни теория трудовой стоимости, ни идея неизбежности социальной революции, ни идея диктатуры пролетариата, короче, ни один из основных пунктов марксизма!

Таково было моё первое разногласие с Лениным. Это было приблизительно в начале марта. Несмотря на мои вспышки во время беседы, Ленин всё-таки не придал им большого значения: я несколько раз ему сказал, что к ревизионизму ни в малейшей степени симпатии не чувствую. Благоволение ко мне Ленина ещё не было нарушено. Лишь через три с половиной месяца, когда разногласие с ним приняло явную и острую форму, он вспомнит мартовский разговор и сделает из него дополнительный аргумент для занесения меня в стан «врагов». В день начавшего проявляться разномыслия с Лениным я чувствовал себя совсем неуютно. Если бы у меня была смелость заглянуть поглубже в себя, посмотреть, что делается на моём «теоретическом чердаке», я не смог бы тогда сказать, что не имею ничего общего с ревизионизмом. Моя ревизия касалась не только философской, гносеологической стороны марксизма. Я отвергал философию Плеханова, но не это было важнейшим. По сей день считаю: из того, что писали Маркс и Энгельс, можно выжать философию не плехановского вида, а приближающуюся к критическому реализму — к эмпириокритицизму. Гораздо важнее была ревизия других пунктов. Например, вопреки Марксу я не видел тождества законов аграрного и индустриального развития. При всех её достоинствах, книга Каутского «Аграрный вопрос» меня не убедила. Наоборот, в критике этой части Марк-

са влияние Булгакова, его книга «Капитализм и земледелие» было несомненным, хотя я ему противился. Столь же несомненным было в других областях влияние Туган-Барановского. Я начал сомневаться в истинности теории трудовой ценности: картина капиталистического развития в I томе «Капитала» может быть представлена и без теории трудовой ценности в Марксовой трактовке. Прибавочный продукт, прибавочная ценность — факт, и объяснить его происхождение можно без прибегания к теории Маркса. Категорию ценности (оценку) Маркс ошибочно отождествлял с категорией трудовых затрат. В метеорите, упавшем с неба, может быть железо — это ценность, а по Марксу, железо метеорита никакой ценности не имеет: ценностью, стоимостью, он считал лишь овеществлённый в предмете труд. Неверно, что прибыль, прибавочную ценность создаёт только «переменный капитал» — труд рабочего, прибыль создаёт весь вложенный в предприятие капитал. Маркс доказывал, что цены тяготеют, сводятся к трудовым затратам, а в III томе «Капитала» это решительно опровергает. Мысль Маркса всё время вращается «в кругу понятий, заключающих в себе внутреннее противоречие». Критика такого рода шла в меня от Туган-Барановского, от бесед с ним, особенно одной — в Киеве, летом 1903 г.

Ревизия шла и вне влияния Тугана. У Маркса я крайне ценил картину круговорота всего общественного продукта, объяснение того процесса, что он называл «воспроизводством и обращением общественного капитала». Однако знаменитая схема этого воспроизводства, над которой мои товарищи и я до одурения корпели в 1902 г., стала мне казаться всё более и более подозрительной. «Схема Маркса простого воспроизводства, — язвительно заметил мой товарищ по Политтехникуму Институту Рабинович, — столь проста, что может легко войти в число примеров элементарного учебника арифметики Малинина и Буренина». Он был прав. Однако только через много и много лет, на основании уже советских цифр, страны, живущей якобы под знаком Маркса (бюджетных затрат, розничного оборота, амортизации и инвестиции капитала, оборотов кустарной кооперации, оборотов колхозных рынков и т. д.), удалось понять, что «малинино-буренинские» схемы во 2-м томе «Капитала» — карикатура на решение сложнейшей и важнейшей экономической проблемы. Сильнейшее сомнение в силе и правильности Марковского анализа создало и поразившее меня, никогда и никем не цитируемое место из 3-го тома «Капитала», где Маркс неожиданно признаётся, что не может объяснить, каким образом доходы классов, составляющих страну, могут купить её общую продукцию. «Это неразрешимая загадка, — заявил он, — анализ вообще не в состоянии постигнуть простых элементов цены, а скорее должен довольствоваться вращением в заколдованном кругу и топтанием на одном месте»³².

Попав в Женеву, несколько ознакомившись с положением швейцарских рабочих, я к прежним сомнениям прибавил ещё новые: стал скептически относиться к тезису Маркса, что какова бы ни была заработная плата рабочих — их положение в капиталистическом обществе должно ухудшаться. Реферат в Женеве на эту тему Плеханова (критика Бернштейна и Струве) мне показался очень слабым, тезис Маркса не спасающим. Признаюсь, что после реферата, взяв книгу Бернштейна, я с неким злорадным удовольствием (у меня ведь был зуб против Плеханова!) прочитал следующее примечание: «У меня, конечно, не может быть охоты спорить с Плехановым, наука которого требует, чтобы мы вплоть до великого переворота признавали положение рабочих безнадежным».

Без утайки показываю то, что происходило на моём теоретическом «чердаке». «Ревизия» марксизма несомненно гуляла в голове, а между тем я изо всех сил пыжился быть и считаться ортодоксальным марксистом, насильственно давая, иногда с помощью уловок, возникавшие сомнения. Мой *cas de conscience*, это подавляемое сомнение в вере не в «конечную цель» (социализм), а во многие части его обосновывающего учения, не заслуживало бы внимания — будь оно лишь моим индивидуальным состоянием. В том-то и дело, что в большей или меньшей степени его испытывали и многие другие лица. В этом состоянии было нечто общее с тем, что десятки лет позднее переживали коммунисты, отклонявшиеся и в то же время смертельно боявшиеся отклониться от «генеральной линии» партии. Оставшееся загадкой для всего мира непонятное поведение на московских процессах 1936—1938 гг. таких фигур,

³² По этому поводу у меня был большой разговор с Лениным, заявившим, что это место я абсолютно не понял: «неразрешимую загадку» Маркс, по его мнению, великолепно разрешил. Вряд ли будет уместным здесь излагать, как в защиту своего утверждения Ленин прибег к «малинино-буренинским» схемам.

как Бухарин, Рыков, Пятаков, Каменев, Крестинский, Раковский и др., не может быть объяснено только тем, что их «физически» мучили. Вместе с этим было и другое, очень сложное, что заставляло «сознаваться», считать «преступным» их уклон от «генеральной линии».

Чем лично у меня объясняется подавление в 1902—1904 гг. теоретических сомнений? Я опасался, что всякого рода колебания, порождая «гамлетизм», могут связывать, разлагать волю, отрицательно сказываться на хотении быть самым активным участником революции. Кроме того, несмотря на самомнение — будто очень много знаю, всё же была мысль, что многого ещё не знаю, что нужно ещё и ещё «учиться» и, следовательно, в критике марксизма быть осторожнее. Наконец, была огромная боязнь, что, не будучи правочерным ортодоксом-марксистом, я попадаю в ряды отщепенцев и тем самым из рядов революции выпадаю. Примирение, говоря словами Белинского, с «гнушной действительностью», со всеми её социальными несправедливостями и оскорблением человеческого достоинства — в моих глазах было моральным самоунижением, моральным падением, превращением в лишнего чувства общечеловечности, эгоистического и ничтожного индивида. Гнусную действительность могла опрокинуть только революция, и вне участия в ней я иначе не мог представить себе моей жизни. А быть в революции значило не «болтаться одиночкой», а находиться в коллективе, в партии, такой же партией я считал только социал-демократию. Но вся партия, за исключением одного Акимова, неуклонно придерживалась ортодоксального марксизма, в самой его воинствующей крайней форме, т. е. в духе Плеханова и Ленина. Отсюда ряд неумолимых силогизмов, из коих, казалось, вырваться уже нельзя. Если я не хочу себя морально унижать — должен быть в рядах революции; если с революцией — значит в партии; если в партии — тогда нужно категорически отмежеваться от всякого ревизионизма, быть в полном согласии с «генеральной линией» марксизма и партии. Это обязывало, вслед за авторитетами партии, за теми же Плехановым и Лениным, считать марксизм абсолютной истиной, «неотменяемой никаким роком», в критике его видеть лишь гадкие подковы, беспринципность, антипролетарскую ренегатскую психологию, уход в стан буржуазии. Борьба с этой враждебной критикой должна быть беспощадной, прибегать к решительным методам, возбуждаться примером самого Маркса, лупившего направо и налево и учившего искать в чужих взглядах отражение лишь тёмных мелкобуржуазных, буржуазных и феодальных интересов. Но как быть, что делать, если клеймение Плехановым неизвестных ему философов ведьмами с красными и жёлтыми глазами, если наклейка Лениным «бубнового туза» без «разбора» на всех инакомыслящих — вызывали у меня тошноту, отвращение, возмущение, бунт?

Как быть? — позвольте досказать. Ведь речь, повторяю, идёт не обо мне одном. С явным противоречием — внешняя ортодоксия, внутренне всё растущая ревизия — я жил не только в Женеве, но и в 1905, 1906 гг. отчасти 1907 г., когда пришло решение с этим противоречием покончить. Появилось оно в обстановке окончившейся революции (её результаты я оценивал совсем не столь пессимистично, как другие) и совпало с переходом (в конце 1907 г.) из нелегального положения, т. е. жизни с фальшивым паспортом, в положение легальное. Вслед за всякими брошюрами на политическую тему и об аграрном вопросе я в это время написал «Философские построения Марксизма», «Мах и Марксизм», о Спинозе и Авенарусе, «Мы ещё придём» и т. д. За исключением первой книги — остальные вещи не видел уже десятки лет, что они собою представляют, не имею представления, думаю — нечто весьма слабое. Что же касается «Философских построений Марксизма» (изложение эмпириокритицизма Авенаруса и Маха, критика философии Плеханова, Дицгена, А. Богданова), то, несмотря на то, что из 300 с лишним страниц этой книги я бы теперь больше трети перечеркнул как негодные, у меня с этой работой, писавшейся при крайне неблагоприятных условиях, связывается большое и приятное воспоминание о моём освобождении. Я вынул занозу из мозга. Перестал носить не только фальшивый паспорт, но и маску ортодокса. Открыто начал быть «ревизионистом».

«Анализ новых фактов, более глубокое проникновение в связь и течение общественных явлений заставляет сторонников марксизма вносить в это течение целый ряд существенных поправок. Ревизия, да будет позволено так выразиться, в полном ходу» (стр. 22 названной книги).

Я не был один. Из пишущей марксистской братии, жившей тогда в Москве — с разными вариациями, — дорогой ревизии шли В. Г. Громан, З. С. Стенсель-Ленский, В. Мачинский, Т. Гейликман. Полностью отвергая философию Плеханова, вспо-

миная, что в Женеве я слышал от него и Ленина, я уже не стеснялся не келейно, а открыто, в печати заявлять, что нет ничего более отвратительного, чем метод: «сначала бубнового туза налепим, а потом разберёмся».

«Несмотря на почти единодушное признание Плеханова официальным философом партии, — писал я, — мы не имеем у него ни одной вещи, где бы в ясной, связанной и обоснованной форме была бы изложена его философия, его теория познания. В разных статьях по разным вопросам приходится собирать отрывки, наёмки его философских положений». Если собрать «эти частицы, эти мощи, на которые с благоговением смотрит партия как на принадлежащие ей философские реликвии» — получится картина пустоты, бесплодия, противоречий. «Но мы твёрдо решили собрать эти частицы, ценою хотя бы немедленного, насильственного удаления в 24 часа вон из лагеря организованного русского марксизма».

Партийная реплика последовала незамедлительно. В 1908 г. под редакцией А. Н. Потресова и П. П. Маслова начало выходить четырёхтомное издание «Общественное движение в России в начале XX века». В числе редакторов издания сначала находился и Плеханов, ушедший из него из-за статьи Потресова, в которой, при всех уступках и поправках последнего, не усмотрел достаточно прославления его заслуг в деле формирования русской марксистской мысли. В четырёхтомнике мне было поручено написать об аграрном движении в 1905—6 гг. Узнав об этом, Плеханов потребовал изгнать меня из издания, заявив, что с критиками его философии (в его глазах сливавшейся с философией Маркса) и одним изданием сотрудничать не желает. Что и было сделано в «24 часа».

С письменным протестом против такого решения выступил один только В. Г. Громан. Лично на меня «изгнание» никакого впечатления не произвело. Я уже был или, вернее сказать, становился свободным, и для меня «генеральной линией» была та, которую я сам свободно выбирал, а не та, что мне навязывалась и под которую я должен был подползать.

Н. Нилов в руках Ленина

В половине мая книга Ленина «Шаг вперёд — два шага назад» вышла из печати. Она вызвала буквально бурю возмущения среди меньшевиков Женевы. Незадолго до этого Плеханов, защищая Мартова от нападок большевиков, писал, что «тов. Мартов — непримиримый враг ревизионизма и ортодокс чистой воды». И вот теперь в книге Ленина можно было прочитать, что и Мартов, и Аксельрод, и прочие меньшевики тянутся к оппортунизму, жоресизму, ревизионизму, тем обнаруживая поползновение уйти от ортодоксального марксизма. Редакция «Искры» и меньшевики, считавшие себя самыми настоящими представителями «ортодоксии чистой воды», не могли допустить подобного оскорбления. На атаку Ленина они ответили контратакой, печатая против него серию статей в каждом номере «Искры». Стрельбу открыл Плеханов. Ещё до выхода книги Ленина он поместил в «Искре» статью о «Централизме и бонапартизме», где, высмеивая большевистских лягушек, желающих иметь царя, резко критиковал организационную схему и централизм Ленина. В номере «Искры», помеченном 15 мая, в статье «Теперь молчание невозможно» Плеханов, обращаясь к членам Центрального Комитета партии, заграничным представителем которого был Ленин, требовал от них отмежеваться от политики Ленина.

«Деятельность ваших заграничных представителей пропитана духом той политики, которую я называю политикой мёртвой петли, туго затягиваемой на шею партии. Наиболее видным и последовательным носителем принципов этой политики являлся и является тов. Ленин. Зачем вы молчите теперь, когда вам следовало бы не только говорить, а прямо греметь, трубить во все трубы, кричать со всех крыш о вашем отношении к бонапартизму? Прервите же ваше молчание! Скажите нам прямо и решительно: как понимаете вы централизм, что вы думаете о бонапартизме или, короче, одобряете ли вы политику Ленина? Это тем более уместно, нужно, полезно сделать теперь, когда Ленин выпустил брошюру, которая в истории наших внутренних распрей будет играть роль масла, подлитого в огонь. Вы не отняли у Ленина его полномочий, и он, пользуясь ими, продолжал делать всё от него зависящее для того, чтобы толкать партию прямо к расколу. У него был для этого свой и совершенно понятный расчёт».

На Ленина, избегавшего задевать Плеханова, желавшего его «нейтрализовать»,

не особенно раздражать, статья Плеханова должна была произвести сильное впечатление. Плеханов явно никакой «нейтрализации» не поддавался. Наоборот, он нападал и весьма недвусмысленно требовал от Центрального Комитета лишить Ленина полномочий, которыми тот пользовался в качестве представителя этого Комитета за границей. Ленин мыслил себя только на самом высшем посту командования партии. Если после ухода из редакции центрального органа его теперь хотят удалить из Центрального Комитета — каково будет его положение? Самое предположение, что он может (быть) лишён всякого касательства к «дирижёрской палочке» — должно было казаться ему невероятным абсурдом. Нужно думать, по его указанию, Крупская обошла наиболее видных большевиков Женевы, указывая им, что большевистская колония не может оставить без ответа статью Плеханова, должна вступить за Ленина и письмами в редакцию «Искры» протестовать против обвинений Ильича. М. Лядов (Мандельштам) в своих воспоминаниях пишет:

«Сразу появилось несколько проектов открытых писем к Плеханову. Помню, мы собрались все у Ильича на квартире и прочитали ему эти проекты. Решили, что застрельщиком выступлю я с моим письмом как делегат второго съезда. Вслед за тем должно быть послано коллективное письмо, написанное, если не ошибаюсь, одним из братьев Вольских, жившим тогда под фамилией Валентинова, вскоре перешедшего к меньшевикам. Моё письмо удостоилось помещения в «Искре» и грубейшего ответа «тамбовского дворянина» Плеханова. Но коллективное письмо напечатано не было под предлогом, что редакция не знает, имеют ли право подписавшиеся называть себя членами партии».

Лядов кое-что путает. Я жил в Женеве не под фамилией Валентинова, а Самсонова. Псевдонимом Н. Валентинов стал подписывать свои статьи в московском журнале Кожевникова «Правда» лишь в следующем году, в 1905. Но важно не это, а другое, что ни Лядов, ни другие большевики Женевы не знали и не узнали и о чём я дал Ленину обещание никогда никому не говорить.

На собрании у Ленина Лядов прочитал написанный им ответ Плеханову, а мне, действительно, было поручено составить письмо от имени группы женевских большевиков. Но когда после собрания мы расходились, Ленин шепнул мне: «Выходите со всеми, потом возвращайтесь ко мне». Так я и сделал.

— Письмо Лядова, — заявил мне Ленин, — неплохо, а всё-таки слишком, слишком мягко. Мне было неудобно ему об этом сказать. Не могу же я заявить, что вы меня плохо защищаете. Плеханову нужно написать такое письмо, чтобы оно у него как кость в горле застряло. Давайте с вами такое письмо составим. Пойдёт оно в редакцию «Искры» не за подписью группы, а только за вашей. Если наша публика захочет вдогонку послать ещё коллективный протест, делайте это, но сначала пошлём письмо, о котором говорю. Для него есть интересный материал. Приходите ко мне завтра утром.

Моё раздражение против Плеханова, не по той причине, что руководила Лениным, совсем не остыло, и я заявил, что готов послать Плеханову письмо во много раз более резкое, чем написанное Лядовым, и проект такого «послания» приготовлю придя домой. С этим проектом я и пришёл к Ленину на следующий день. Он бегом просмотрел его, отложил в сторону и сказал: прочитайте предварительно, что я вам сейчас покажу. То было письмо к нему Плеханова, написанное года полтора перед этим. Извлечённое из архива Ленина, оно в тридцатых годах напечатано в одном из томов третьего издания сочинений Ленина, и я могу точно привести ту часть его, на которую Ленин меня заставил обратить особое внимание.

«Поверьте одному, — писал ему Плеханов, — я глубоко вас уважаю и думаю, что на 75% мы с вами ближе друг к другу, чем ко всем другим членам коллегии («Искры»), на остальные 25% есть разница, но ведь 75% втрое больше 25%».

— Итак, — говорил Ленин, — ещё совсем недавно Плеханов находил, что на 75% он ко мне ближе, чем к Аксельроду, Засуличу, Староверу. На партийном съезде он заявил, что Акимов и другие, подобно Наполеону, любившему разводить своих маршалов с их женами, стараются нас, т. е. Плеханова и меня, во что бы то ни стало развести, но на развод он не пойдёт. После съезда, когда мы с ним вдвоём редактировали «Искру» (с конца августа по ноябрь 1903 г.), Плеханов, напоминая о своём письме, говорил: четыре прежних редактора «Искры» своим поведением и речами меня окончательно от них отшатнули. Я вижу, что нашу близость нужно измерять не 75%, а большим процентом. И Плеханов шутил: «Примерно 85%—90%». В это время он беспощадно критиковал Аксельрода, называя его «калечью», человеком, потерявшим

всякую ценность для партии. Над Засулич издевался. Она-де выжила из ума, думает, что он — Плеханов — генерал Трепов, в которого она стреляла 26 лет назад. Старовера-Потресова называл переодетым в марксизм либералом. О Мартове говорил, что человек он способный, но истерик, и Плеханов не удивился бы, если бы кто-нибудь сказал ему, что Мартов прибегает к кокаину. Такова была характеристика Плехановым членом коллегии «Искры»³³. Из них первых троих он, как и я, считал на съезде не подлежащими избранию в редакцию. Что же произошло потом? Флюгер вертится, и Плеханов призывает в редакцию людей, признаваемых им калекой и ненужными, а я сразу делаюсь вредным, опасным человеком, бонапартистом и меня следует удалить из Центрального Комитета. Зная теперь многое о поведении Плеханова, вы поймёте какого рода письмо он заслуживает!

Вынув из кармана, Ленин прочитал составленное им послание к Плеханову. Мне трудно теперь передать его содержание, скажу только, что это была защита Ленина и яростное нападение на Плеханова. Оно было пропитано ядом и резкими выражениями. Как и письмо Лядова, оно состояло из вопросов, и каждый из них должен был ставить Плеханова в неудобное положение, особенно те, где он указывал на отношение последнего к своим коллегам по редакции. Письмо Ленина было во много раз язвительнее моего проекта, тем более письма Лядова.

— Если этот проект, — сказал Ленин, — вы одобряете, тогда предлагаю вам его переписать и поставить подпись — Самсонов.

У меня, повторяю, был слишком большой зуб против Плеханова, письмо Ленина я немедленно одобрил, но подпись решил поставить не — Самсонов, а Н. Нилов. Я хотел этим напомнить Плеханову, что я тот самый человек («пошлите этого человека ко мне»), которого он угостил возмутительной болтовнёй о буржуазных ведьмах с красными и жёлтыми глазами. Единственно, что меня несколько смущало — это слишком уже большое знание Плеханова и партийных дел, видное из этого письма: откуда то может знать Самсонов-Нилов? — «Это совсем не важный вопрос, — ответил Ленин. — Сорока на хвосте вам эти сведения принесла. Важнее другое — как будет выворачиваться Плеханов, посмеет ли он сказать, что всё в письме неправда. Пусть попробует, тогда мы его прищемим ещё сильнее». — «Ну а если товарищи меня будут спрашивать — откуда я знаю, о чём пишу в письме?» — «Вы и им ответьте: сорока на хвосте мне сведения принесла».

Большое, на 7 или 8 почтовых страницах, письмо Ленина, написанное очень мелким почерком, я тут же переписал, отдав оригинал Ленину, который его порвал на мелкие клочки. В этом произведении «Н. Нилова», кроме двух или трёх запятых и маленького стилистического исправления, ничего моего нет, но Ленин, протискиваясь со мною, хитро улыбаясь, счёл нужным подчеркнуть, что письмо написано «одним Ниловым, только Ниловым» и маленький секрет должен быть безусловно сохранён. В этом я «покаялся» Ленину. Не думаю, что нарушение через 48 лет моего обещания может быть признано большим преступлением.

Вскоре после этого мне пришлось быть у Бонч-Бруевича. Он жил тогда на окраине Женевы, на даче, среди большого парка. Бонч мне объявил, что у него есть срочная работа, бросить её он не может и он просит меня вместо него пойти к Ленину — передать ему пакет с полученными из России письмами. К Ленину на rue du Foyer после столкновения с Крупской я ходить избегал, всё же, чтобы не плодить сплетней, я Бончу об этом ничего не сказал. Я согласился выполнить просьбу Бонча и отправился к Ленину. Я нашёл его в состоянии крайнего раздражения. «Почтите, — кинул он мне, — что пишет тамбовский дворянин». — «Кто?» — «Плеханов». Это были гранки ещё невышедшего № «Искры», помеченного 1-м июня. Кто-то из большевиков их принёс Ленину из типографии. Я стал читать. За набранным письмом Лядова следовал ответ ему Плеханова. Ответ архигрубый, причём сразу почувствовалось, что Плеханов бьёт не столько по Лядову, сколько по Нилову, т. е. по Ленину, ибо письмо Лядова не было таким уже непростительным допросом с пристрастием, в котором его обвинял Плеханов.

«Ставлю вам на вид, что ваше письмо написано странным тоном допроса с пристрастием. Этот тон гораздо более приличествует какому-нибудь сутяге из персонажей

³³ Троицкий сказал о Ленине, что у него, как у микроскопа, была способность всё увеличивать. «Микроскоп», вероятно, «преувеличил» и характеристику Плехановым своих коллег. Во всяком случае, она была бесконечно далеко от действительной ценности критикуемых лиц.

Островского, чем социал-демократу. Я решительно не знаю, что даёт вам право говорить со мною таким тоном. Вы, почтеннейший, обязаны вести себя прилично и помнить, что тон допроса с пристрастием непростителен».

Переходя на презрительно-шутливый тон, Плеханов продолжал:

«Что же касается собственно ваших допросных пунктов, то я, неслуживый дворянин Тамбовской губернии Георгий Валентинов сын Плеханов, у исповеди и святого причастия давно уже не бывавший, не тожко за страх, а за совесть отвечаю. Если я незаслуженно обидел Ленина, то готов объясниться с ним, а не тратить время на объяснение с ходатаем. Ходатаев по делам Ленина не нужно, а потому с Лядовым в какие-либо разговоры о нём (Ленине) вступать не желаю, тем более, что мне неизвестно, имеет ли онный ходатай доверенность, засвидетельствованную установленным в законе порядком».

За сие ответом следовал следующий постскриптум. Он-то и привёл Ленина в бешенство. Он тыкал в него пальцем говоря: «Вот что читайте, вот что!». Что же там было?

«Кроме товарища Лядова мне прислал письмо ещё какой-то Нилов. Это лицо мне совершенно неизвестно, так что я не только не знаю, за кого и когда оно голосовало, но мне неизвестно даже, имело ли оно право голосовать за кого-нибудь из нас, т. е. принадлежит ли оно к нашей партии. Если Лядов допрашивает, то Нилов просто бранится. Наша редакция не сочла себя обязанной помещать на столбцах «Искры» эту брань, которая ввиду указанного обстоятельства является как бы анонимной».

Ответ Плеханова — недурная иллюстрация приёмов и лживых уловок, которые допускают в политической и партийной полемике даже большие и почтенные люди. Его ссылка, что ему неизвестно, за кого голосовал Нилов (где, когда?), абсолютно никакого отношения к вопросу не имеет. Но если она бессмысленна, то указание, что Плеханову неизвестно — принадлежал ли Нилов к партии, уже сознательно лживо. Плеханов, чего я и опасался, по разным намёкам слишком уже много знающего Нилова, несомненно догадался, что за спиной последнего стоит Ленин. Печатать письмо Нилова, отвечая на его вопросы «допросы», Плеханов никак не мог. Они ставили его в самое щекотливое положение. И он вывернулся. Пользуясь Ниловым, Ленин «стрелял» по Плеханову, а Плеханов, обрушиваясь на Лядова, требуя вести себя «прилично», фактически отвечал Нилову, т. е. Ленину, рекомендуя последнему не прибегать к маске, к ходатаям.

Ленин был озлоблен, написанное им письмо не достигло цели.

— Плеханов вывернулся самым позорным образом. Жулик, настоящий жулик! Скажите, а кому вы адресовали письмо?

Я объяснил Ленину, что, так как у него не было конверта, я, уходя от него, купил конверт, сделал на нём надпись и, возвращаясь к себе домой на rue du Carouge, оставил письмо у консьержа дома, где жил Плеханов.

— Можно ли было делать такую оплошность! Вы поступили как младенец, не могли догадаться, что адресовать и направлять письмо следовало не Плеханову, а редакции «Искры»! Глубоко уверен, что ни одному из других редакторов Плеханов письма не показал. Весь заряд пропал даром. Оставить это дело без продолжения никак нельзя. Выдет, что нам дали по рожке и мы замолчали. Вместо письма в редакцию — напечатать листовку. Вы мне как-то говорили, что у Плеханова есть как две капли воды на него похожий брат — полицейский. А ну-ка расскажите мне об этом поподробнее, этим братом нам нужно хлопнуть по Плеханову. На этот счёт у меня есть маленький план.

Я рассказал всё, что знал о Плеханове-моршанском, и Ленин, прищурив глаза, изложил свой план. «Хлопнуть» Плеханова меня подмывало, ленинский план я весьма охотно выполнил в виде, впрочем, несколько отличного от того, что он предлагал. Что я сделал — будет видно из дальнейшего, но, вспоминая сейчас, через 48 лет, эту сцену из партийной склоки, испытываю самое пренеприятное чувство. «Суета сует — всё суета». Мне неприятно о том думать, может быть, больше всего потому, что в памяти встаёт не тот Плеханов, из квартиры которого в Женеве я вылетел как ошпаренный, не тот Плеханов, который позднее, через четыре года, потребовал удаления меня из числа сотрудников сборников «Общественного движения в начале XX столетия», а другой Плеханов — почти накануне смерти. В 1904 г. он был в апогее своей силы и славы, полубог на партийном горизонте — Громовержец-Олимпиец. «Это человек, перед которым приходится съёживаться», — говорил о нём Ленин. В 1917 г., когда после 38 лет жизни в эмиграции Плеханов приехал в Петербург, его полити-

ческое положение и он сам были уже другими. Он осунулся от болезни, сильно постарел, гордая осанка его исчезла. В Женеве он стоял наверху, к нему все прислушивались. В Петербурге Плеханов был в некотором роде забытый и забываемый Фирс из «Вишневого сада» Чехова. Та самая Революция, к которой он призывал всю жизнь, — катила через его голову. Она шла к Ленину, а не к нему. Он был «социал-патриот» и говорил, что с немцами нужно бороться. А революция кричала «долой войну» и желала брататься с немцами. В августе 1917 г. он приехал со своей женой на созванное правительством Керенского Государственное совещание в Москве. Плеханов был приглашен на это совещание, если хотите, в качестве одной из икон революции. На таком же основании были приглашены престарелый анархист Кропоткин и «бабушка революции» — социалистка-революционерка Брешко-Брешковская. Увы, на эти иконы уже не обращали большого внимания. Приехавшего Плеханова никто не встретил. Никто не позаботился найти для него пристанище, а это было нелегко в переполненной во время войны Москве. После объезда нескольких гостиниц, где всюду говорили «свободных комнат нет», Плеханов, сдав вещи на хранение на вокзале, отправился на совещание в Большой театр. В ожидании его открытия сидел с Р. М. Плехановой в ложе — мрачный, усталый, в помятом в дороге костюме. Узнав от кого-то, что у Плеханова нет приюта, я подошел к министру внутренних дел в правительстве Керенского социал-демократу меньшевику А. М. Никитину.

— Послушайте, Алексей Максимович, ведь это сущее безобразие! Плеханову где-то голову преклонить. Реквизируйте для него комнату в каком-нибудь отеле или отведите ему помещение хотя бы в Кремле. Вы же министр внутренних дел, неужели и на такое маленькое дело силенки у вас не хватит?

Никитин заорал на меня:

— Мне некогда заниматься квартирами! У меня дело поважнее — следить, чтобы большевики не бросили бомбу в совещание.

Я выругался и решил, что предложу Плеханову поселиться в квартире, которую мы с женой занимали очень близко от Большого театра. Это была довольно деликатная задача. Отношения с ним были крайне натянутые. Почти одновременно в 1908 г. против его философии выступили — я со своей книгой и Юшкевич. Отвечать на нашу критику он не желал, однако она его до последней степени раздражала.

— Если кто подумает, — говорил Плеханов, — что мне нечего возразить, например, Юшкевичу или Валентинову, то с этим ничего не поделаешь, это старая песня: давно уже крыловская мышь думала, что сильнее кошки зверя нет. Но это мышьяное заблуждение не сделало кошку сильнее, чем она есть на самом деле. Так и Юшкевич и Валентинов не сделаются сильнее оттого, что какой-нибудь молодой читатель вообразит, что нет на свете философских истин более глубоких, нежели те, гласящаями которых они выступают. Оно, конечно, не мешало бы, пожалуй, вывести из заблуждений даже и этого молодого человека, но у меня никогда не было охоты преподавать в приготовительном классе³⁴.

Плеханов неоднократно говорил, что считает меня не «товарищем», а «господином», т. е. человеком, стоящим вне марксизма, и не желает иметь со мной никаких отношений. Поэтому не будет ли рискованным предлагать Плеханову своё гостеприимство? Не получу ли я оскорбительный отказ? Я всё-таки написал записку и направил её в ложу, где сидел Плеханов: «Я узнал, что Вы ещё не смогли найти свободной комнаты в гостиницах Москвы, может быть, вы воспользуетесь предложением моей жены и моих поселиться у нас?» Я видел, что Плеханов долго вертел в руках записку, потом, переговорив с Р. М. Плехановой, вышел в коридор меня отыскивать. Я пошел к нему навстречу. Пробежала минута, вероятно, нами обоими ощущаемой неловкости, затем её внезапное исчезновение, и Плеханов крепко пожал мне руку. Р. М. Плеханова, как человек ультрапрактичный, немедленно отправилась со мною смотреть, насколько наша квартира отвечает требованиям её мужа, и, найдя её вполне подходящей, через два часа вместе с Плехановым перебралась к нам. Они прожили у нас около двух недель³⁵. Из моей библиотеки я подарил ему Софокла в русском переводе, он не мог найти его в магазинах, а Плеханов мне презентовал три тома своей последней работы «История русской общественной мысли». На ней четким почерком было

написано «Товарищу Вольскому от автора». Титулование меня не «господином», а «товарищем» означало, что Плеханов — уже не прежний Плеханов! После этой встречи я больше его не видел. Покинув Петербург, где бушевала Октябрьская революция, он вскоре умер в Финляндии (в 1918 г.). Если у моей жены главной мыслью было сделать удобнее пребывание у нас Плеханова, как бы получить его накормить, что становилось тогда трудным делом, то меня не оставляла мысль ничем не напоминать ему о моей книге и всячески избегать — хотя несколько раз на то наталкивали разговоры — всего, что могло бы напомнить, выполненное по плану и наущению Ленина, моё выступление против него в Женеве в июне 1904 г.

Вот что тогда произошло. Несколько дней спустя по выходе № «Искры» с письмом Лядова, ответом Плеханова на него и письмом Нилова в большой зале Handwerk состоялось собрание, на котором присутствовали большевики и меньшевики и были прения о партийных делах. По какому поводу и кем оно было создано — абсолютно не помню. На собрание пришёл и Плеханов, как всегда важный, как всегда притягивавший к себе всеобщее, почтительное внимание. Увидев его, я решил, что наступил момент «хлопнуть». Я выбрал место в нескольких шагах от Плеханова и после нескольких сцепившихся друг с другом ораторов (от большевиков, насколько помнится, говорил Гусев) попросил слова.

— Мы всё время слышим, — сказал я, обращаясь к Плеханову, — о партийном демократизме, который противопоставляется бонапартизму и ленинской политике, которая, как вы пишете, петля на шее партии. Должен сказать, что мне неясно ваше отношение к этому вопросу. Возьмём такой пример. Я послал письмо в «Искру», подписав его Н. Нилов. Это письмо содержало вопросы, выяснить которые для партии было бы и интересно, и полезно. Возможно, что печатать его вам было неудобно и неприятно: из него видно, сколь непочтительно вы относитесь к вашим товарищам по редакции. Но отказ печатать его вы мотивируете не этим, а другим: вы-де не печатаете писем «каких-то» неизвестных Ниловых. В партии таких, неизвестных лично вам Ниловых сотни, если не тысячи. Живя четверть века за границей, вы знаете их меньше, чем кто-либо... Я спрашиваю: демократично ли именовать этих членов партии презрительно барским эпитетом «какие-то»? Ведь этот термин, перефразируя фразу в вашем ответе т. Лядову, приличествует гораздо более какому-нибудь реакционному тамбовскому дворянину, чем социал-демократу. Вы пишете, что и вам совершенно неизвестен, т. е. можно подумать, что вы никогда меня не видели. Окажите мне честь, взгляните на меня — не вспомните ли вы, что три месяца назад я был у вас по вашему же приглашению, адресованному т. Бонч-Бруевичу. Кстати сказать, посылая вам мои статьи для журнала «Рассвет», он дал вам довольно подробные сведения о моём партийном стаже. Ваше заявление, что вы не знаете о моей принадлежности к партии, по меньшей мере странно. Вы написали, что, не зная «какого-то» Нилова, не зная, принадлежит ли он к партии, считаете моё письмо как бы анонимным и в качестве такого не подлежащим печатанию. Но здесь, по известным вам причинам полицейского порядка, мы почти все анонимы, почти все живём под вымышленными кличками. Чтобы рассеять анонимность, не быть каким-то неизвестным субъектом, нужно, полагаю, представить вам что-то в ваших глазах более солидное, чем свидетельство партийных товарищей. Что же вам нужно? Очевидно, вы требуете показать вам настоящий паспорт, установленный предрезающими властями. Подобно всякому русскому подданному, был паспорт и у меня. Он был выдан мне полицией города Моршанска Тамбовской губернии, вам известной, так как, в ответе т. Лядову, вы считаете почему-то нужным сообщить, что состоите в дворянском сословии этой губернии. Выдачу мне законом утверждённого паспорта вы легко можете проверить. Для этого вам надлежит обратиться за справкой к вашему брату Григорию Валентиновичу Плеханову — полицейскому исправнику г. Моршанска.

Моя речь с самого её начала, ввиду её заносчивого тона, сопровождалась мало для меня лестными репликами меньшевиков. Например, когда, обращаясь к Плеханову, я сказал «окажите мне честь, взгляните на меня», кто-то из них, вызывая смех, крикнул: «Тов. Плеханов, не смотрите, это совсем не интересно». Реплики, прерывание меня к концу моей речи усилились, а когда я упомянул об исправнике, раздались голоса: «Что за ерунду болтаете», «О каком исправнике говорите», я, смакуя ответ, повторил, что у Г. В. Плеханова есть брат — полицейский исправник, что он меня хорошо знает, что я (это уже была выдумка!) был у него под надзором и потому редактору «Искры» он, в порядке родственной услуги, может сообщить все приметы моей личности, тем окончательно рассеивая вопрос об анонимности.

³⁴ Слова Плеханова Дейчу, напечатаны в журнале «Пролетарская революция».

³⁵ О пребывании Плеханова у нас я писал в «Новом Журнале» в 1948 г. в статье «Трагедия Г. В. Плеханова».

Речь моя была составлена по канве, указанной Лениным, и, следовательно, «план» его я выполнил полностью. Скандал на собрании получился большой. Большевики хохотали, а меньшевики, бывшие в аудитории в подавляющем большинстве, не щадили пускаемых по моему адресу выражений — среди которых были: вран, скандалист! Плеханов, подперев рукою подбородок, смотрел в упор на меня, не произнося ни слова.

«Хлопок» по Плеханову этим не ограничился. Дня через два появилась карикатура на Плеханова, нарисованная Лепешинским. Немного позднее вместе с другими его карикатурами («как мыши — меньшевики — коты, т. е. Ленина, хоронили») она была литографирована. В большевистском стане она имела большой успех. Она изображает полицейский участок, где, окружённый своими помощниками-меньшевиками, заседают, в военной форме с большими эполетами, важный «исправник» Плеханов. Перед ним большевики, протягивая свои паспорта как свидетельство об их неанонимности ходатайствуют, чтобы им дали разрешение обращаться с письмами, объяснениями, статьями в редакцию партийного органа, в «Искру». В своих воспоминаниях Лепешинский-Олия давал следующее детальное пояснение своей карикатуры.

«В кресле сидит сам частный пристав — Плеханов. Его помощник Мартов по случаю претензии большевистской шпаны (среди которой в своё время не трудно было узнать подающего заявление Лядова, далее Олина, Самсонова-Вольского, С. И. Гузана, В. Д. Бонч-Бруевича), спешит навести справку: кто, согласно параграфу I, может считаться членом организации. Секретарь (Блюменфельд) требует от посетителей предъявления «пачпортов», удостоверений, что они члены партии. Подпасок телей предьявления «пачпортов», удостоверений, что они члены партии. Подпасок телей предьявления шевелюрой (Троцкий) хватается за телефонную книжку, а ещё один персонаж, «некто в штатском» (с лицом Дана) внимательно изучает на всякий случай физиономию просителей. Со стены смотрят портреты «священных особ» — Засулия и Аксельрод».

Некоторые сцены из партийной склоки в Женеве в 1904 г. через двадцать лет, по-видимому, стёрлись, исчезли из памяти Лепешинского. Из его объяснений можно подумать, что нарисованная им карикатура была навеяна отказом редакции «Искры» поместить в ноябре 1903 г. письмо Ленина «Почему я вышел из редакции», а позднее письмо Рядового (А. Богданова). Это, конечно, не так, карикатура инспирирована скандалом в зале *Handwerk*, и Лепешинский, вероятно, придал бы своей карикатуре скандальную ценность и значение, если бы знал, что и письмо Нилова, и план «хлопещ» по Плеханову принадлежали самому «Ильичу». На примере с Ниловым, и потому-то на нём следовало подробно остановиться, хорошо видно, какое огромное влияние имел Ленин на шедших за ним партийных людей, как он умел их подчинять себе, делать послушным орудием, превращать в своего рода пешки в ведущейся им на партийном и политическом поле шахматной игре. Не поддаться Ленину было нельзя. Не подчиниться ему — можно лишь разрывая с ним.

Карикатура Лепешинского, начиная с 1924 г., была воспроизведена в книге его воспоминаний «На повороте», в «Пролетарской революции», в «Ленин в зарисовках художников» и в других изданиях. В это время уже трудно было себе представить, что меньшевики когда-либо и как-либо могли «притеснять» большевиков. «Меньшевикский полицейский участок во главе с Плехановым» — был плодом фантазии, тогда как большевистский полицейский участок стал во времена Ленина подлинной действительностью, а во времена Сталина в виде МВД — главным учреждением, душой тоталитарного государства.

После скандала в зале *Handwerk* я впервые увидел Ленина в столовой Лепешинского на углу *Carouge* и набережной Арвы, куда он пришёл в сопровождении Крупской. Я уже указал, что моя жена в этой столовой мыла посуду, получая за это в вознаграждение завтрак для себя и меня. Поедать этот завтрак я и приходил в столовую. Увидав меня, Ленин, подмигивая, сказал: «Превосходно, превосходно, тов. Нилов и иже с ним могут считать себя отомщёнными!» Одобрительный смех вызвала у Ленина и показанная ему, только что нарисованная карикатура Лепешинского. Он долго её рассматривал, потешаясь над тем, что о нарисованных им лицах говорил Лепешинский. Вдоволь насмеявшись, Ленин, однако, счёл необходимым обратиться ко всем нам со следующим нападением:

— Плеханова, сделавшегося меньшевиком, мы должны травить на разные лады и высмеивать, не спуская ему ни одного удара. Однако мы никогда не должны забывать, что, кроме Плеханова, попавшего, как кур во щи, в плен меньшевиков, есть ещё другой Плеханов, теоретик и философ ортодоксального марксизма, автор «Мони-

стического взгляда на историю», замечательных статей против Э. Бернштейна и т. д. Смешивать этих двух Плехановых никак не годится. Во всех наших выступлениях нам нужно постоянно подчёркивать, что в Плеханове — нашем учителе — мы ценим, а с чем сражаемся.

Круская, начиная с половины мая при всяком удобном случае бросавшая в меня шпильки, сочла нужным подцепить меня и в этот день.

— Ильич очень хорошо напомнил, что в борьбе с Плехановым нельзя, по выражению немцев, вместе с водой из ванны выбрасывать и ребёнка. Глупо забывать, что Плеханов-Бельтов — автор «К вопросу о монистическом взгляде на историю», книги, нас воспитавшей. А ведь приходилось слышать: что такое книга Бельтова, ровно ничего, мы, мол, сами такую напишем! Не вы ли, Самсонов, держали такую речь?

— Нет, Надежда Константиновна, я этого не говорил. Я сказал лишь, что когда впервые прочитал книгу Бельтова — она на меня не произвела такого впечатления, как на других, оставила меня холодным. Особого преступление в том не вижу. Это не значит, что я не признаю авторитета Плеханова. Я подписываюсь под каждым словом в таких его произведениях, как «Социализм и политическая борьба» и «Наши разногласия».

— Ну, — заметил Ленин, — тут вы уже перегибаете палку. Я начал делаться марксистом после усвоения I тома «Капитала» и «Наших разногласий» Плеханова, книги, имевшей на людей моего поколения огромное влияние. Но как бы ни было велико наше почтение к этой книге, не следует подписываться под каждым её словом. Это уже чересчур! В её введении есть кое-что, явно неправильное. Неправильно отношение Плеханова к Ткачёву. Он был в своё время большим революционером, *настоящим яacobинцем*, оказавшим большое влияние на некоторую наиболее активную часть «Народной Воли», а к ней у Плеханова никогда не было достаточно объективного отношения. Я из разговора с ним знаю, что у него были столкновения личного порядка с некоторыми народолюбцами, и это окрасило и его отношение ко всему народолюбческому движению.

Из столовой Лепешинских мы целой гурьбой вышли провожать Ленина до дома.

В пути я спросил его:

— Вы сказали, что начали делаться марксистом после прочтения «Капитала» и «Наших разногласий». Когда это было?

— *Могу вам точно ответить: в начале 1889 г., в январе*³⁶.

Так как всё время речь шла о Плеханове, а я никак не мог забыть, отделаться от его ведьм с красными, жёлтыми и белыми глазами, я подумал, что создалась очень благоприятная обстановка, чтобы в разговоре с Лениным возвратиться к вопросу о «ведьмах», попытаться убедить его, что Авенариус и Мах марксизм не колеблют и ни Плеханову, ни Ленину лепить на них бубновый туз не годится.

— Владимир Ильич, после выпуска вашей книги вы теперь свободны. Почему бы вам не ознакомиться с философией Авенариуса и Маха? Вы её поносили со слов Плеханова, но вы только что сами сказали, что подписываться под каждым его словом не годится. Меня очень интересует, что вы скажете об этой философии, с нею познакомившись. Позвольте мне вам принести некоторые произведения этих философов.

Ленин весьма прохладно отнёсся к моей просьбе, говоря, что он очень устал и ничего до отъезда его на отдых читать не хочет. Я всё-таки стал настаивать, и, в конце концов, Ленин с неохотой на это согласился: «Принесите». В это время Крупская подошла к нам, и я её спросил:

— Я должен принести Владимиру Ильичу кое-какие книги. Имеете ли вы что-нибудь против этого?

Круская, поняв, что скрывается за моим обращением, холодно и коротко ответила:

— Теперь Ильич не занят.

³⁶ Официальная биография Ленина, изданная в 1944 г. Институтом Маркса — Энгельса — Ленина утверждает (см. стр. 5), что Ленин стал знакомиться с «Капиталом» Маркса в 1885 и 1886 гг., т. е. в возрасте 15—16 лет. Из только что совершенно точно приведённого ответа Ленина следует, что казённые биографы пишут сухую неправду.

Бурное столкновение с Лениным. Я взбунтовался

Итак, Ленин согласился ознакомиться с произведениями философов эмпириокритической школы и наиболее важные из них я обязался ему принести. "Der Menschliche Welt «begriff»" Авенариуса у меня был, Маха "Analyse der Empfindungen" быстро нашёл у одного знакомого социалиста-революционера, с двухтомным сочинением Авенариуса "Kritik der reinen Erfahrung" было хуже. Для чтения вне библиотеки оно не выдавалось, о покупке же его не могло быть и речи. От того же с.-р. я узнал, что это сочинение есть у В. М. Чернова — одного из лидеров этой партии, и, вооружившись рекомендательным письмом, к нему отправился. Чернов принял меня очень любезно, однако, памятуя распротранённую в русской среде (только ли русской?) привычку «зачитывать», не возвращать книги, видимо, колебался дать Авенариуса; когда же я указал, что книгу прошу не для себя, а для Ленина и через неделю принесу обратно, у Чернова промелькнуло удивление и любопытство.

— Ленин хочет ознакомиться с Авенариусом? Чем объяснить такое чудо? До сих пор я думал, что его не должны интересовать вопросы философии. С работой Авенариуса в одну неделю ознакомиться нельзя. Дам вам её на две недели с условием точно вернуть в указанный срок.

Он ушёл искать книгу. Я не остался один. Откинув назад грузный корпус, расставив жирные ляжки, в кресле сидел человек в тёмном пальто, с неприятными цыганскими глазами, жёлтым круглым лицом, толстыми, презрительно сложенными губами.

— Странно, — промолвил он, шупая меня глазами с головы до ног, — раньше молодые люди приезжали в Женеву знакомиться с революционными теориями. А теперь, вижу, они прыгают сюда, чтобы возиться с философскими бирюльками.

— Вы обращаетесь ко мне? — спросил я, хотя прекрасно видел, что сей человек, по какой-то непонятной причине, бросает вызов именно мне, не обращая внимания, что Авенариуса я просил для Ленина.

— Это мысли вслух, — ответил он, совсем уже нагло смотря на меня.

— В таком случае полагаю, что вы страдаете недержанием языка.

Желтомордый человек, хлопнув себя по ляжке, расхохотался:

— Ах, как вы удивительно остроумны! Откуда это?

Не знаю, чем окончился бы этот странный разговор, если бы не был прерван Черновым, вручившим мне Авенариуса. Тридцать четыре года спустя (в 1938 г.), встретясь с Черновым около Парижа, я напомнил о моём визите за книгой для Ленина. Он помнил это очень смутно, но как только я начал рассказывать о странном поведении желтомордого человека, Чернов воскликнул:

— Азеф!

Да, то был знаменитый Азеф — великий провокатор и великий террорист, таинственный, двуликий Янус — важнейший агент царской охранки и организатор покушений на великих князей, царских министров и губернаторов. После разоблачений в печати появились его портреты. Это был, несомненно, тот, кого я видел.

Собранные мною книги были отнесены Ленину, а три дня спустя в столовой Лепешинских кто-то, насколько помню, жена Гусева, передала мне, что видела Ленина: «Он хочет, чтобы вы пришли к нему, собирается вам намылить голову». Намылить голову? Что такое я сделал, за что мне нужно «намылить голову»? Ленин встретил меня не по-обычному, а с бросившейся в глаза неприятной сухостью. И тут же передал принесённые ему книги.

— Возьмите, они мне больше не нужны.

— Неужели вы их прочитали? — воскликнул я.

В них было не менее 1200 страниц. Это не роман, не лёгкое чтение, в два с половиной дня одолеть их невозможно. Вместо ответа Ленин вынул из кармана несколько листов.

— Это вам от меня на память небольшой меморандум. Маленький щелчок по вашим горе-философам, с которыми вы, несомненно, хотите начать ревизию марксизма. Для меня теперь ясно, что пребывание в семинарии Булгакова и знакомство с ним для вас не прошло бесследно. Вы, вслед за ним, тянетесь противопоставить материализму негодную, путаную, идеалистическую теорию. Я вас предупреждаю: из этого, кроме позора, ничего получить не может.

Сознательно пропуская мимо ушей намёки на пленение меня Булгаковым, я сказал:

— В вашем меморандуме, придя домой, постараюсь основательно разобраться, пока позвольте бросить на него беглый взгляд.

В этом документе, *in spe*, в зародыше, заключены все главные положения написанной в 1908 г. книги Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». В «меморандуме» было одиннадцать небольших страниц на блокноте, с большими, особенно с 8-й страницы, просветами между строками. На первой странице — в качестве заголовка, дважды подчеркнутого, крупными буквами, стояло: «*Idealistische Schrullen*», а затем следовало доказательство, что философия Маха — невежественная «галиматья», отрицающая существование объективного, независимого от нас материального мира. Пробежав бегло «меморандум», я немедленно убедился, что Ленин из принесённых ему книг перелистал лишь Маха и, абсолютно не поняв его взгляды, превратил их действительно в галиматю. До книг Авенариуса он, видимо, даже и не дотронулся. Что же касается философских, если можно так выразиться, взглядов самого Ленина, они были изложены в конце меморандума, от них разило примитивностью самого наивного обывательского материализма. В сочинениях Ленина до сих пор никогда не было намёка на философские проблемы, поэтому до его «меморандума» мне в голову не могло прийти, что в этой области он так пуст и детски беспомощен. Можно было подумать, что он никогда не держал в руках ни одной истории философии, ни одной книги по психологии и психофизиологии. Всё-таки особого умаления Ленина я в том видеть не хотел, говорю — о *начале* моего спора с ним. По моему мнению, это лишь показывало, что быть энциклопедистом нельзя, что Ленин, занятый изучением политических и экономических вопросов, не имел времени заглянуть в другие области. Мало ли чего мы не знаем! Естествознание, техника поважнее философии, а подавляющее большинство марксистов их не знает. Всё-таки из незнания не нужно делать добродетель и воображать, что можно мне или кому-нибудь другому «намылить голову» простыми окриками. Философские взгляды Плеханова я считал безобразными, но он всё-таки штудировал философию, тогда как у Ленина в меморандуме ни малейших следов какого-либо знания этих вопросов. Проникаясь подобными рассуждениями, я очень спокойно заметил Ленину:

— Критика в вашем меморандуме Маха мне напомнила некоего Энгельмейера — переводчика «Научно-популярных очерков» Маха, вышедших в Москве года три назад. В своём предисловии он, как и вы, утверждает, что Мах, хотя он физик и естествоиспытатель, отрицает существование внешнего материального мира и доказывает, что ничего, кроме субъективных ощущений человека, не существует. Раз это так, восклицал Энгельмейер, тогда у меня нет ни родителей, ни положения в свете, ни собственности, ничего кроме ощущений. Энгельмейер смешивает ощущения с представлениями, мышлением, чувствами. Он явно не понимает, что данность, наличность ощущения говорит об обусловленности его чем-то извне. Если нет, например, источника тепла и света, никакие фокусы, никакое напряжение воли не может вызвать в человеке *ощущения* тепла и света. Но такое же непонимание двести лет перед этим испытывала и по сей день испытывает философия Беркли. Его также обвиняли в отрицании внешнего мира и критики, издеваясь над ним, предлагали ему пройтись над пропастью или удариться головой о столб. А между тем в странной, на первый взгляд непонятной, формуле Беркли «*esse est percipi*» заложена не метафизика, а острый анализ и глубочайший реализм.

Ленин подскочил, услышав «*esse est percipi*». Эта формула ввергла его в какое-то злостное раздражение.

— Вы явно, — крикнул он, — не отдаёте себе отчёта, что значит *esse est percipi*! Вы, очевидно, абсолютно не знаете латинский язык, не понимаете, что, восхваляя дурацкую формулу, вы тем самым защищаете чушь и галиматю. Если без вывертов и выкрутасов перевести с латинского языка на русский язык *esse est percipi* — это будет означать, что всё существующее есть лишь восприятие, т. е. лишь субъективное ощущение. Человек, строящий на одном только ощущении свою философию, безнадёжен. Его нужно отправить в сумасшедший дом. Мир внешний, мир материи существует вне нас, независимо ни от каких восприятий и ощущений. Если ваш Мах не знает этой истины материализма, его нужно назвать круглым дураком. «*Esse est percipi*!» — нужно же подхватывать такую дику чушь и носиться с нею.

Конечно, это требовало ответа и, сдерживаясь от ругательства Ленина ответить тем же, я снова спокойно сказал:

— Твердить на разные лады о существовании независимости от нас мира, доказывать то, что без всяких доказательств знает и чувствует всякий нормальный че-

ловек, уверяю вас, смешно. Сильнее того, что Авенариус и Мах говорят против гносеологического солипсизма, отрицания внешнего мира, поверьте, — вы не скажете. Судя по вашему меморандуму и тому, что сейчас говорите, вижу, что вы, Владимир Ильич, не хотите вникнуть в то, о чём идёт речь в философии, которую критикуете. Речь идёт о теории познания, изучающей процесс познания, анализирующей не содержание тех или иных наук, а происхождение, образование общего содержания знания. Это самопознание знания, это желание узнать, что и как тут происходит, с чего и с какой посылкой мы начинаем познавать. Подавляющее число философов утверждает, что непосредственная данность сознания есть та единственная достоверность, с которой начинается познание, все данные суть факты сознания. Это перелицовка *cogito ergo Sum* Декарта, превратившаяся в догму идеалистической гносеологии, которой противостоит материалистическая гносеология — берущая отправным пунктом уже не сознание, а материю. Совершенно иная позиция эмпириокритицизма. Авенариус указывает, что при анализе познания естественным отправным пунктом должно быть взято воззрение простого человека, то, что свысока называют наивным реализмом. Какие бы теории ни создавали Платоны, Декарты, Спинозы, Канты — исходным пунктом всякого познания является следующее, простое, непроверяемое положение: каждый индивид находит себя центральным членом координации, в которой противочленом является какая-нибудь часть среды или другой человек. Кого бы мы ни брали — детей или дикарей, простых обывателей или философов, — все начинают познание с вышеуказанной посылки. Она продукт природы, говорит Авенариус, и сама природа заботится об её сохранении. Непосредственно нам дана эта посылка, а не теория о непосредственной данности сознания. Вы не можете утверждать, что эмпириокритицизм, или как вы его называете в «меморандуме» махизм, — отрицает существование внешнего мира, тогда как он указывает, что в познании у каждого индивида в качестве противочлена всегда стоит среда, т. е. внешний мир. Взять при анализе общего познания отправной точкой зрения именно взгляд, воззрение простого человека, профана — диктует то обстоятельство, что познание научное развивается из обыденного, у них одни и те же функции, одни и те же формы. К тому, что есть, что существует, познающий субъект может подходить двояким образом. Он может от себя отвлечься, не принимать во внимание свою психофизиологическую структуру, свои нервно-мозговые состояния, а независимо от «я» рассматривать, описывать, исследовать всё, что находится «вне я», устанавливать там закономерность явлений, причинную связь всех элементов этого внешнего мира. Указывая на биологическое значение познания, жизненную необходимость приспособления мыслей к фактам, эмпириокритицизм подчёркивает стремление мышления к экономии сил (отсюда к монизму) и рассматривает всю науку как экономически-упорядоченный коллективный опыт человечества. Тот метод познания, при котором познающий субъект отвлекается от своего «я», не обращая внимания на комплексы элементов, составляющих наше тело, Мах называет физическим методом исследования. В отличие от него познание может сосредоточить своё внимание на особенностях, функциях, строении органов чувств познающего субъекта, переходя таким образом от «не-я» к «я». Это психологический метод исследования, приводящий к ощущениям слуха, осязания, зрения, вкуса, обоняния. Это простейшие элементы нашего познания, нашего опыта, и они уже неразлагаемы. Вы сказали, что «человек, строящий свою философию только на ощущениях — безнадёжен». Но с чем другим, кроме ощущений, мы можем познать природу, ведь только с помощью того, что они нам дают, строим картину мира? Двойственность указанных методов исследования, однако, не должна заслонять тот факт, что в жизни, в опыте «я» и «не-я» даются вместе, связно, координированно. В познании субъект не отрывается от объекта, он не может находиться в каком-то фантастическом непротаяжённом пространстве, где нет никакого «не-я», никакой среды, не указываемой ни одним из его ощущений. В этом смысле нет субъекта без объекта. В вашем меморандуме вы замечаете, что материализм даёт объективное знание независимого от человека материального мира. В каком смысле можно при познании говорить о независимом от нас внешнем мире, о мире «самом по себе», вещах в себе и по себе? Нет ли тут какой-то ложной установки, которая иных взрослых доводит до вопроса, которому место лишь в сказках для детей: как выглядят вещи, когда нас нет? Да, очевидно, так, когда, приходя к ним, мы их видим, слышим и осязаем. Все вещи «сами по себе» при их познании, встрече с нами, делаются вещами для нас, даже тогда, когда, не видя их, мы только думаем о них, ибо думаем о них мы (субъект), а не кто-либо другой. В каких бы направлениях ни подвигался субъект —

он никогда не найдёт и не может найти мира самого по себе, ибо против объекта в опыте всегда стоит субъект. Когда говорят об объективном знании независимого от нас мира — это ещё не значит, что в таком познании субъект отсутствует. Человек никогда не может выпрыгнуть из самого себя. Поэтому, если верно, что нет субъекта без объекта, то с точки гносеологии верно и другое — нет объекта без субъекта. Вот эту связь Беркли, мне думается, и пытается выразить формулой, которая вас так возмутила: *esse est percipi*, быть — значит восприниматься. Бытие всех вещей, находящихся вне нас, характеризуется тем, что они воспринимаются, ощущаются. Если объект не попал в наше восприятие (восприятие человечества), мы ровно ничего о нём не знаем и не можем знать: существует ли он. А когда говорим, что объект существует — значит он попал или попадал в сферу наших восприятий, в сферу наших ощущений, зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса. То обстоятельство, что Беркли защищал свою формулу аргументами туманными, недостаточно стойкими и ясными, простительно: его «Трактат о началах человеческого знания» появился в 1709 г.

В течение нескольких лет, а в особенности в течение трёх лет жизни в Киеве, всякие споры и разговоры на философские темы были *mon dada*. В Женеве повода для таких разговоров не было, но когда ленинский «меморандум» открыл мне для этого двери, меня возбудил, подхлестнул, сознаю: я уселся на моего *dada* и поскакал... Мне кажется, что мой дада не был Россинантом, хотя временами и спотыкался.

Ленин слушал, еле сдерживаясь от желания закрыть мне рот, и, наконец, потеряв терпение, резко прервал меня, не дав окончить фразы. Он был явно взбешён и смотрел на меня прищуренными, злыми глазами.

— Поздравляю, договорились до точки! Без субъекта нет объекта! Не употребляя самых резких выражений, хотя они здесь были бы очень уместны, скажу, что профессорский тон не может скрыть вашего обскурантизма. Ваш обскурантизм просто невероятен. Вот пример, до каких перлов можно договориться, бросаясь с завязанными глазами в объятия тёмной, путаной, реакционной теории. *Esse est percipi*, субъект неотрываем от объекта! Неужели вам неизвестно, что земля, природа, объект существовали раньше, чем появился субъект, человек? Неужели вы не знаете, что был период, когда земной шар находился в раскалённом состоянии, что эта раскалённая масса охлаждалась и на ней лишь постепенно начали создаваться условия для органической жизни. В раскалённой массе мог ли существовать человек и познавать окружающее, находясь с ним, по вашему выражению, в какой-то неразрывной координации? Ведь это чуды! Вся эта мнимая философия — набор бессмысленных слов. Так можно пойти и до веры, что пророк Иона жил во чреве кита. Признаёте ли вы указания науки, что в течение сотен тысяч лет на нашей планете не было человека и потребовалось неисчислимое время, чтобы сложить человека из клеток органической материи? Если признаёте, от ваших формул о неразрывной связи субъекта и объекта, нелепых словечек, что без субъекта нет объекта — ровно ничего не останется. Ну, а если не признаёте, тогда вам нужно взяться за самые элементарные учебники, чтобы освободиться от своего дикого обскурантизма.

Крупская, присутствующая при нашем споре, язвительно вставила:

— Неужели такие теории вы проповедовали в кружках уфимских и киевских рабочих?

Я посмотрел на неё и ничего не ответил. А вот Ленину, всё ещё продолжая стараться быть спокойным, указал, что о «земной и небесной тверди» раньше сотворения человека говорит уже Библия и эту истину теперь знают даже в младшем классе приходского училища. Но в отличие от приходской школы, где преподают без ссылок на гносеологию, мы с вами, товарищ Ленин, говорим именно о последней, однако у вас к ней какое-то странное и непонятное мне отношение. Когда я говорю, что, с точки зрения теоретико-познавательной, нет объекта без субъекта — вы отвечаете, что в раскалённой массе земного шара не может сидеть субъект-человек и эту массу наблюдать. За такое воззрение, избегая назвать меня идиотом, вы называете меня только тёмным обскурантистом. А познаваемый объект всё-таки не отрывается от субъекта. В самом деле — откуда вы знаете, что наша планета была в раскалённом состоянии и на ней не было жизни и человека? Знание о том — дано ли мистическим сообщением какого-то духа или есть результат исследующего, создающего гипотезы познающего субъекта? Вас интересует только то, что земной шар находился в раскалённом состоянии, а теорию познания интересуется, как, каким путём получено такое знание, каким контактом субъекта с объектом оно достигнуто, сколько в нём достоверности и что, с гносеологической точки зрения, нужно и можно считать достоверностью. Учёные палеон-

тологи и геологи описывают, какую флору, фауну, какое расположение морей и океанов имел, допустим, в архейскую эпоху земной шар, когда человека ещё не было. Они делают это на основании находимых остатков флоры и фауны, различных осадочных минеральных отложений. По остаткам морских организмов и отложений, находимых там, где сейчас нет никакого моря, они «логично» заключают, что здесь когда-то было море, ибо эти организмы и осадочные отложения свойственны морским пространствам. Так, в древнее время, если не ошибаюсь, Геродот из присутствия морских раковин в долине Нила сделал вывод, что вся территория Египта была когда-то под морской водой. Космография, космогония, историческая геология, палеонтология — все они, опираясь на логику, т. е. «законы» познающего субъекта, и при мысленном самоперенесении его во времена доисторические, в пространства и миры неведомые, создаются по аналогии с ныне существующими или, по сведениям прежних поколений, существовавшими объектами. Все они в своём отправном пункте базируются на фактах, данных опыта, т. е. на системе ощущений человека. Так совершается контакт субъекта с объектом в виде хотя бы «раскалённой массы» земного шара. «Глаз» современного человека за ней действительно «наблюдает», и теория познания объясняет: как это нужно понимать. Вы это называете чувью, но если нет координации субъекта и объекта — нет связи между ними, — тогда нужно допустить чудо: познание без того, кто познаёт. А чтобы выйти из этого абсурда — следует мистически допустить присутствие некоего духа, сообщающего человеку о том времени, когда не было человека. Это не лучше, чем вера о бытии Ионы во чреве кита. Во всех познавательных мысленных операциях с самоперенесением туда, где ещё не было человека, конечно, есть элемент предположения, догадки, гипотезы. Раскалённое состояние земного шара, о котором вы говорите с такой уверенностью, есть тоже только догадка, конструкция ума. Ошибками, неуверенностью проникнута вся история человеческого познания. Она история гипотез, объяснений, считавшихся в своё время истинами, и смены этих рождающихся и умирающих истин, замещающихся новыми. Умирающие, негодные истины, однако, не так просто исчезают из нашего сознания и бытия. Язык тащит старые слова, а старые слова часто выражают отжившие свой век понятия. Наука пользуется, например, термином кислород, хотя теперь известно, что вещества обязаны кислотным свойствам не кислороду, а водороду. Мы говорим: «солнце всходит», а это ложное понятие, существовавшее до Коперника и Галилея, когда не знали, что земля вращается около солнца. Мах и Авенариус указывают, что не только философия, психология, психофизиология, но и физика, химия, механика пользуются словами-понятиями с явными следами когда-то царившего анимистического и мифологического миропонимания. Эти ложные понятия мешают построению новых истин, позволяющих познающему субъекту наиболее гармонично, полно, широко охватить объект, приспособляя мысли к фактам. В глубоком и новом подходе к изучению процесса познания, его способов и форм, в стремлении очистить познанное от негодных понятий, утвердить его, по терминологии Авенариуса, на базе чистого опыта — велика заслуга Маха и Авенариуса, и напрасно в нашем меморандуме вы называете их сочинением невежественной болтовнёй. Наибольшее невежество, обскурантизм и чувью вы находите в гносеологическом указании — нет объекта без субъекта. Субъект, говорите вы, не мог присутствовать в те времена, когда шар земной был в раскалённом состоянии и человек тогда ещё не появлялся. Смею вас уверить, что гносеологически он всё-таки тогда присутствовал.

Развернув **“Der Menschliche Weltbegriff”**, я попросил Ленина вдуматься в следующие слова Авенариуса: «Мы можем представить себе такую среду, в которой нет и никогда не было никакого индивида, но представляя или мысля эту среду, мы *никак не можем откинуть себя*, центрального члена, который представляет, который мыслит эту среду. Что мы можем сделать — так это: или игнорировать себя, или вообразить время, когда не было ни одного существа. Однако как в том, так и в другом случае мы всё равно будем налицо, то как сознательно вопрошающие зрители, то как зрители, которые так увлеклись зрелищем, что забыли о себе».

— Что вы скажете по поводу этого? — спросил я Ленина.

— Скажу, что это чувью, геллертовские выверты, **Schrullen**, не имеющие для науки никакой цены.

Было ясно, что мы говорим на разных языках. Наш спор затем длился более двух с половиной часов, и стена между нами подымалась всё выше. Моментами это была настоящая буря: Ленина охватывало ничем несдерживаемое бешенство, и по адресу Маха, целясь, конечно, в меня, он, не стесняясь, кидал град выражений вроде —

дичь, idiotские выверты, темнота, дребедень, невежество, глупость, бессмыслица, идеалистическая чепуха, жалкая болтовня и т. д. Начав спор очень спокойно, я тоже стал раздражаться, и чем дальше, тем всё более. Я стал говорить с Лениным тоном, лишённым почитительности, которую перед ним до этого проявлял, как все большевики. На замечание Ленина, что, разделяя взгляды Маха, непременно приду к ревизионизму и отрицанию марксизма, я ответил ему: «Пожалуйста, оставьте в покое ревизионизм. Спор идёт не о нём, а о том, есть ли дважды два — четыре или, как вы доказываете, — пять. Приплетая сюда ревизионизм, вы из области, в которой очень слабы, хотите уйти и ловко повернуть в область, где вы очень сильны».

Ещё более резко я ответил Ленину, когда после моей ссылки на некоторых философов (на Фейербаха и Петцольта) он саркастически заметил: «Не уподобляйтесь тургеневскому Ворошилову, не думайте пронять меня «образованностью». Философией меня не напугаете, я сам ею достаточно занимался в ссылке в Сибири».

— Вот что уже совсем не видно! — воскликнул я. — Значит, не в коня корм пошёл. Не пробуйте ваш авторитет перенести в область философскую, на такой перенос я никак не могу согласиться.

Словом, я взбунтовался. Это лишь усиливало раздражение Ленина. Из всего, что он говорил, было несомненно, что его благоволение ко мне испарилось, исчезло без остатка в самый короткий срок в процессе спора. Несколько дней до этого он с доверием поручал «Н. Нилову» выполнение секретного плана, теперь на того же Нилова он смотрел уже как на врага. Я не мог понять, что, в его глазах, больше всего превращает меня в врага? То ли, что я взбунтовался, т. е. вышел из большевистского состояния признания и подчинения его авторитету, то ли, что, будучи «махистом», обнаруживаю «реакционный обскурантизм», несовместимый с философским материализмом, иначе говоря, совершаю преступление против марксизма, за которое, по его словам, человека нужно бить «по морде» и «лепить на нём бубновый туз». Раздражение Ленина дошло до того, что он стал с руганью прерывать меня на каждой фразе, на что, озлобясь, я крикнул ему: «Или вы перестанете прерывать меня окриками и ругательствами и будете культурно вести спор, или, если это для вас невозможно, я уйду!»

Ленин, словно кто-то его дёрнул, сразу переменял тон, иронически сказав: «Говорите, я постараюсь «культурно» слушать и вас не прерывать».

И действительно, после этого, но то было уже в конце нашего спора, он ни разу не прервал меня. Передать всё, о чём мы в течение более двух с половиной часов спорили, нет ни возможности, ни надобности. Остановлюсь лишь на том, что предшествовало концу спора. Я всё время пытался обратить внимание Ленина на разные ценные стороны эмпириокритицизма: на теорию познания, которую развивает Авенариус, рассматривая центральную нервную систему и её колебания; на биологическую основу познания, на принцип экономии сил в мышлении, на требование так называемого «чистого опыта», на глубочайший реализм предпосылки Авенариуса и Маха. Ленин, не желая это слушать, всё отпихивал, говоря: «Перейдём теперь к главному», а главное он видел в непримиримости материализма с «идеалистической галиматьёй Маха». Ссылаясь на Плеханова и Энгельса, он в следующем виде формулировал «великую истину материализма». Вне нас и совершенно независимо от нас существует мир материальных вещей; воздействуя на наши органы чувств, они порождают в нас ощущения, благодаря чему мы узнаём свойства вещей. Эта «великая истина» есть, конечно, только маленькая обывательская философия. С нею можно прекрасно жить, она никому не мешает, но, что бывает почти со всеми обывательскими истинами, начинает немедленно тускнеть при малейшем анализе. Ленину был чужд этот анализ, и, в сознании полного обладания «великой истиной», он с презрением отвергал «галиматьё» Маха. Механически вырывая одну цитату из его книги, упорно игнорируя (видимо, не читая) сопутствующие ей объяснения, он, в своём «меморандуме» и не престанно в течение спора, твердил: Мах пишет, что не тела, не материальные вещи вызывают в нас ощущения, а, наоборот, ощущения образуют тела. А ну-ка попробуй-те доказать, что это не дичь, не идеалистическая болтовня?

— Хорошо, попробую это сделать. В комнате на столе было несколько яблок. Я взял одно и сказал: вот эту материальную вещь, это яблоко, можно взвесить, определить его объём, удельный вес, узнать, сколько в нём сахара, какова его кислотность, можно найти элементы, образующие его запах и цвет. Ботаники определяют всякие другие его свойства, породы яблок, границы распространения культуры яблока и т. д. Изучая яблоко и другие материальные тела этим способом, мы пользуемся методом, который Мах называет физическим. Мы рассматриваем эти тела как мир независи-

мых от нас вещей. Наше присутствие не вызывает их существования, наше отсутствие не прекращает их существование. Но близоруко думать, что нас тут нет. Мы только отбросили, забыли нашу персону и не считаемся с тем, какую роль в исследовании этого яблока играют наши органы чувств. А между тем достаточно перерезать, например, глазной нерв, и сразу пропадает огромная часть нашего знания о яблоке. Оставляя физический метод познания, перейдём теперь к психологическому анализу, т. е. примем во внимание наше исследующее «я». Что представит собою яблоко, если восприятие его мы сведём к простейшим, уже дальше неразложимым элементам? Яблоко жёлто-красного цвета. Это — ощущение зрения. Оно имеет вес — ощущение осязания. Оно сладкое — ощущение вкуса. Оно хорошо пахнет — ощущение обоняния. Падая со стола, оно стукнет — ощущение слуха. В целом, с точки зрения психологического анализа, что такое яблоко, что такое все остальные материальные вещи? Сложный комплекс ощущений, и только из них мы составляем о них наши представления, наше знание. Если бы независимое от нас яблоко стало невидимым, неосязаемым, недоступным ни одному из наших ощущений, могли бы мы сказать, что оно существует? В чём же тут чушь, где тут галиматья?

— Чушь вы совсем не устранили, — с усмешкой ответил Ленин. — Можете целый день твердить о комплексе ощущений, а яблоко всё-таки не будет ощущением. Яблоко там (Ленин показал на стол), а ощущение здесь (и Ленин показал на голову). Ощущение есть только свойство наших органов чувств, след, которое оставляет яблоко, принимающее это ощущение. Ощущения дают нам знать об яблоке, но они не яблоко, оно вне их и ощущениями не покрывается. Если человек психически не болен, он никогда не будет смешивать в нём находящееся ощущение с причиной, вне его находящейся и это ощущение вызывающее.

— Насколько понимаю, вы хотите сказать, что когда, производя психологический анализ, мы восприятие яблока разложим на последние элементы, на ощущения, всё-таки они как ощущения всякой материальной вещи не представляют предмета, а только свойства его, он сам остаётся «вне их», если употребить выражение Канта — «вещью в себе», «вещью самой по себе»?

— Да, я так думаю и Кантом меня не испугаете. Плеханов, а он философ не чета вашему Маху, неоднократно указывал, что мы, материалисты, признаём вещь в себе и считаем её познаваемой, в этом пункте мы резко расходимся с идеалистами, которые считают вещь в себе непознаваемой. Извините меня, что оскорбляю вашего учителя, но должен сказать, что нужно быть идиотом, как этот Мах, чтобы не признавать вещей в себе и вместо них говорить о каких-то комплексах ощущений. Ведь совершенно ясно, что у Маха за непознанием вещи в себе стоит отрицание независимого от нас материального мира. Вещи в себе, представляя материальный, вне нас находящийся мир, действуют на наши органы чувств и вызывают ощущение. Только невежды могут не знать и не понимать этого неопровергаемого, основного положения материализма.

— Позвольте ответить. Указываемое вами основное положение материализма столь просто, что не слышать о нём действительно могут только невежды, но слышать о нём не значит разделять его — слишком уже оно примитивно. Вы говорите, что ощущение находится в человеке, а причина ощущения вне его. Мне кажется, что природа ощущения вам неясна. Вы смешиваете его с мыслями и чувствами. Мы часто слышим, например, такие выражения: я чувствую холод и ощущаю неудовольствие. Чувства удовольствия, неудовольствия, печали, радости, боли, испуга — это действительно во мне, так же как и мысли, но при ощущении тепла, холода, света, сладости, звука — нельзя сказать, что они во мне, вопрос много сложнее, и теория познания его и хочет выяснить. Вспомним, с чего — по эмпириокритицизму — начинает познавать всякий нормальный человек. В своём опыте, этом непрекращающемся всю жизнь контакте субъекта и объекта, «я» и «не-я», он находит, застаёт себя как центрального члена координации, в которой противочленом среда или другой человек. Эта среда или, как вы всё время говорите, независимый от нас материальный мир, состоит из элементов различного цвета, запаха, теплоты, звука, движения, давления, притяжённости и т. д. Когда, отвлекаясь от нас самих, изучаются эти элементы в их взаимозависимости, их связи, воздействию одних на другие — мы находимся тогда в области физического исследования, но когда принимаем во внимание наше «я», наше тело, из области определяемой мы переходим в область определяющего, в область психологического анализа. Один и тот же объект в контакте с субъектом выступает то как элемент физический, то как элемент психологический — ощущение. Здесь нет раз-

личия содержания познаваемого, а различие в точке зрения, в подходе к тому, что в опыте даётся в неразрывной связи: звук (например, дрожащая струна) и ощущение звука, свет (зажжённая лампа) и ощущение света, холод (кусочек льда) и ощущение холода. При таком понимании вещей можно ли говорить, что ощущения находятся в субъекте? Ваша философия утверждает, что вещи в себе, воздействуя на органы чувств, причиняют ощущения. Но когда мы находимся в области физического исследования, не принимая во внимание наших органов чувств, мы в этом поле никогда не встретим «вещи в себе», а только вещи, и никогда не найдём ощущений, ибо изучаемый физиологический объект (человек) имеет мозг, в нём разные клетки, сосуды, серое вещество, но ни один микроскоп в нём не обнаружит ощущений, чувств, мыслей. Об ощущениях, повторяю, можно говорить, лишь покидая точку зрения физического исследования и переходя к психологическому анализу, но и в этом случае нет места заявлению, что вещи в себе, действуя на наши органы чувств, причиняют ощущения. При психологическом анализе яблоко, о котором мы говорили, есть комплекс ощущений зрения, вкуса, обоняния. За ними ничего уже больше не стоит. Эти элементы уже неразлагаемы, они являются конечными, простейшими элементами нашего опыта. Нельзя себе представить, и никто этого себе не представляет, на какие ещё более простые элементы можно разложить ощущения обоняния, света или звука. Что происходит, когда говорят, что вещь в себе как причина стоит за нашими ощущениями? Происходит совершенно ложная гносеологическая операция. Разложив «вещь в себе» (яблоко) на ощущения, мысленно эту вещь вновь собирают, соединяют, придают ей прежний вид и подставляют её за ощущения как их причину. В задачу теории познания входит борьба с такого рода гносеологическими операциями, внушаемыми негодными понятиями, мешающими познанию, правильному приспособлению мыслей к фактам. Можно показать, как исторически слагалось понятие о различии между вещью в себе, вещью по себе и вещью для познающего субъекта, но это понятие, которым, вслед за Кантом и Плехановым, вы пользуетесь — негодно, порочно. Для разрушения его много сделали и Юм, и Беркли, и Гегель. Гегель называл вещь в себе *caput mortuum* абстракции, пустейшим продуктом мысли, в котором отвлеклись от всего, что делает эту вещь в себе доступной сознанию. Гегель смеялся над теми, кто думает, что это отвлечение от всяких чувственных элементов стоит позади явлений, — есть, как вы говорите, материальная причина ощущений.

Вполне допускаю, что, отвечая Ленину (передаю лишь частицу того, что говорил), я был слишком многословен. Знаю, что «многословие», от которого ныне освободился с уклоном в обратную сторону, было большим моим недостатком. Вполне допускаю и другое, что защищаемые мною взгляды можно было бы формулировать не только кратко, но много яснее, лучше. Но после заявления, что он будет «культурно» меня слушать, Ленин всё-таки меня не прерывал. Засунув пальцы за борта жилетки, он ходил по комнате, моментами останавливался против меня, язвительно усмехался, пожимал плечами, иногда бросал подмигивающий взгляд Крупской, отвечавшей на это сочувственным пожиманием плеч, и снова продолжал ходить. Когда я остановился, он ответил мне речью не менее длинной, чем моя. Вот её основные «фрагменты».

— Я вас «культурно» выслушал, а теперь «культурно» выслушайте меня. Вам непременно надо быть приват-доцентом по кафедре философии, теологии в Германии. Это был бы логический, прямой ход из семинара Булгакова. К тому же вы тут что-то уже упоминали о мистике, о божестве. У приват-доцентов немецких философских факультетов особые качества — они невероятно многословны и отличаются способностью превращать всё в сплошной туман, а стоит подуть на этот туман — за ним обнаруживается галimatья. Я не думаю, чтобы эти приват-доцентские качества украшали социал-демократа. Представьте себе, что какой-нибудь рабочий спросит вас: товарищ, объясни мне, пожалуйста, что это за штука «вещь в себе». Если вы её объясните, как только что сделали, т. е. туманом и многословием, он почешет в затылке и подумает: ровно ничего не понял, эта штука не по моему пролетарскому уму. А почему он не поймёт? Потому, что простые, непреложные, доступные каждому рабочему, каждому нормальному человеку истины материализма вы отбросили и заменили их дребеденью. Мы, материалисты, можем объяснить «вещь в себе» и, вопреки Канту, её познаваемость так, что эту якобы мудрёную штуку поймёт всякий рабочий. Я вам сейчас покажу, как с этим вопросом справляется, например, материалист Лафарг. Занявшись Махом, вы его, конечно, не читали. Подождите минутку.

Ленин вышел из кухни-приёмной и поднялся в верхние комнаты. Крупская, отвернувшись от меня, смотрела в окно. Из всех углов комнаты, чудилось мне, смотрит

и лезет на меня враждебность. Не нужно было, думал я, допускать града ругательств, сыпавшегося на меня. Как только Ленин вручил свой меморандум, стал говорить о позорном якобы влиянии на меня Булгакова — мне следовало раскланяться и уйти. Позволять сажать на меня бубновый туз, слышать не возражения по существу, а окрики — не желаю. Если это приведёт к разрыву всяких отношений с Лениным — пусть будет так!

Ленин возвратился, держа в руках журнал «*Socialiste*» со статьёй Лафарга «Материализм Маркса и идеализм Канта». В назидание мне он прочитал из статьи нижеприводимое место, которое я привожу в его переводе (ужасном переводе). К моему ошеломлению, именно эту цитату он счёл нужным в качестве чего-то глубокого и остроумного привести четыре года спустя в своей книге «Материализм и эмпириокритицизм».

— Рабочий, который ест колбасу и который получает 5 франков в день, знает очень хорошо, что хозяин его обкрадывает и что колбаса приятна и питательна для тела. Ничего подобного, говорит буржуазный софист, всё равно зовут ли его Пирсоном, Юмом или Кантом. Мнение рабочего на этот счёт есть его личное, т. е. *субъективное* мнение, он мог бы с таким же правом думать, что хозяин его благодетель и что колбаса состоит из рубленой кожи, ибо *он не может знать вещи в себе*.

У меня волосы стали дыбом от лафарговской философии.

Теряя контроль над собой, я резко прервал Ленина и не стал слушать; на этот раз не он, а я пришёл в бешенство.

— Так как эту рубленую кожу, — крикнул я, — вы считаете украшением материалистической философии — дальнейший спор с вами излишен и бесплоден.

Ленин сначала опешил, а потом ответил:

— Совершенно верно, разговор с вами не нужен и бесполезен.

Схватив книги, что приносил Ленину, я выбежал на улицу. Идя домой в самом собачьем настроении, я думал: кубарем выкатился от Плеханова, точно облитый кипятком выбежал от Ленина. Здесь дело не в одном только расхождении в области философии. Здесь причиной — невероятная нетерпимость наших вождей и больше всего дикая нетерпимость Ленина, не допускающего ни малейшего отклонения от его, Ленина, мыслей и убеждений. Могут ли я при этих условиях быть членом большевистской организации, во всём беспрекословно следующей за Лениным.

Две встречи. Полный разрыв с Лениным

В конце июня Ленин и Крупская уехали бродить по горам. Потом они поселились для отдыха недалеко от Женевы в пансионе около *Lac de Bré*, куда из Парижа приехали Богданов и его жена. Это был (*lune du miel*) медовый месяц в отношениях Ленина с Богдановым. В это время я почти перестал интересоваться Лениным. После конфликта с ним меня сверлила неприятная догадка, что централизм, это основное требование организационной схемы большевиков, может стать для партии действительно невыносимой «петлёй на шее», если будет возглавляться человеком со слепой нетерпимостью Ленина. До сих пор я не придавал никакого значения тому, что писала «Искра» о Ленине и большинстве. Брошюры, например, Мартова, его статьи «Кружок или партия», как и другая литература меньшевиков, проходили мимо меня, не оставляя следа, а не подрывая веры, что прав Ленин, а не «ново-искровцы». Столкновение с Лениным, вызвав перелом в психике, толкнуло к более внимательному отношению к меньшевистской критике, особенно к тому, что с 1-го июня стало появляться в «Искре» о «Шаг вперёд — два шага назад». В статьях «Вперёд или назад», где Мартов, в частности, отмечает «злобу Ленина» и его «поразительную самовлюблённость», многое мне показалось правильным, только думалось: нужно говорить не о «самовлюблённости» Ленина, а о чём-то ином, более сложном, хотя оно было столь же неприятным. Пришлось согласиться с Мартовым и в том, что Ленин «прямохонько ведёт к раздроблению партии». Это вполне совпадало с тем, что собственными ушами во время прогулок я слышал от самого Ленина. Задумался я и над указаниями Мартова, что лишь при «извращении марксизма» нужно видеть в нём «современный якобинизм» и что Ленин является представителем консервативной тенденции в партии, «боящейся всякого критического отношения к наследству „Искры“». А в этом наследстве, вследствие роли, которую в «Искре» играл Ленин с его «Что делать?», не всё было благополучно. В статьях Плеханова было, например, указано, что нужно

считать большой ошибкой утверждение Ленина, будто рабочий класс в ходе своего развития не вырабатывает элементы социалистического сознания, а они привносятся в него «извне» революционной интеллигенцией, этот же пункт я никогда не разделял в очаровавшей меня в 1902 г. книге Ленина. Большое впечатление начали на меня производить и указания меньшевиков, что «бесстыдное», по выражению Мартова, заявление «представителей Уфимского, Средне-Уральского и Пермского комитетов» о необходимости для социалистических партий организационно готовить диктаторов не есть только глупость, безграмотность или ошибка, а какое-то течение мысли, согласующееся с самим духом организационной схемы Ленина. В марте мне не казался обоснованным ужас Мартынова по поводу заявления «уральских представителей». Следуя совету Ленина, я склонялся видеть в нём лишь неудачную литературу. В июле я уже иначе смотрел на этот вопрос. Словом, постепенно я стал уходить от «ленинизма», однако не порвал ещё с большевистской группой и по-прежнему посещал столовую Лепешинских. Всё-таки подписать коллективное письмо в июле 37 большевиков в защиту Ленина я под разными предлогами уклонился, вызвав тем самым подозрительное отношение ко мне некоторых большевиков, и раньше других Лепешинского. Как раз в июле, когда собиравшись подписи под письмом 37-ми, произошла моя встреча с Мартовым, и о ней, в связи с последовавшим разрывом с Лениным, нужно обязательно рассказать.

Мартынов как-то спросил меня: куда уехал Ленин. Я ответил, что с Лениным поругался, где он теперь находится, не знаю и не интересуюсь. Так как Мартынов до сих пор знал меня как «твёрдокаменного» поклонника Ленина, мои слова вызвали в нём большое любопытство: из-за чего я поругался? Я кратко ответил: «Из-за философских вопросов», — и распространяться на эту тему не стал. Мартынов передал об этом Мартову, у того это тоже вызвало любопытство: что случилось, нельзя ли об этом узнать поподробнее? Ведь каждый из враждующих станом пользовался всяким случаем проведать, что делается в недрах противника. С Мартовым я не был знаком, но он знал меня, потому что два раза я выступал против него на собраниях и, говоря правду, из поединка с таким полемистом, как Мартов, вышел в обоих случаях сильно помятым. Мартынов не сказал мне — о том я узнал много позднее, что устраивает встречу мою с Мартовым. Он назначил мне свидание в одном кафе на *Plaine de Plainpalais*, и туда, как бы случайно, заглянул Мартов, с которым я остался один на один, так как Мартынов скоро ушёл.

— Правда ли, как гласит молва, — спросил Мартов, — вы поссорились с Лениным из-за того, что в некоторой части защищали нынешние взгляды Булгакова?

— Откуда идёт эта поганая женевская сплетня?

— Это передавало лицо, беседовавшее с самим Лениным.

Зная принцип Ленина лепить «бубновый туз» на несогласных с ним, я мог свободно предположить, что, действительно, такой слух пустил он сам, но так как мне хотелось подчеркнуть перед Мартовым, что я не превратился в меньшевика и, несмотря на стычку с Лениным, готов его защищать, я сказал:

— Не допускаю мысли, что это Владимир Ильич пустил такую сплетню. Из знакомства с ним в течение полугода я убедился, что сплетни он не любит. Спор с ним шёл совсем не о взглядах Булгакова, а по поводу другой философии.

Конечно, я кривил душою, Мартов в течение нескольких лет тесной работы с Лениным наверняка знал лучше меня, насколько «Ильич» любит всякие партийные сплетни. Однако, вероятно, учтя мою реплику, показывавшую, что он не должен ждать от меня критики Ленина, Мартов, оставляя вопрос о сплетнях, спросил:

— О какой же философии вы с Лениным дискуссировали, не о той ли, что проповедует Богданов³⁷?

— Нет, речь шла о другой философской системе — об эмпириокритицизме Авенариуса и Маха. Богданов стоит гораздо ближе к Оствальду, чем к Авенариусу и Маху. Впрочем, лучше всего об этих вопросах не говорить, в три или пять минут их не изложишь.

— А над нами не каплет, — сказал Мартов, — я свободен, могут слушать, если это нужно, даже три часа.

Хотя несчастные пробы касаться в Женеве философских вопросов в разговоре сначала с Плехановым, а потом с Лениным, должны <были> бы раз навсегда

³⁷ Мартов, разумеется, знал, что в это время Ленин видел в лице Богданова главного союзника в борьбе с меньшевиками. Поэтому его вопрос не лишён язвительности!

пресечь у меня охоту их продолжать, заявление Мартова снова распалило у меня желание сесть на моего *dada*. То было 48 лет назад; если о многом я теперь думаю эклезиастически: «суета сует — всё суета», то тогда был полон прозелитизмом. К философии, как необходимому талисману, укрепляющему «цельное мировоззрение», было не безразличное и не тёплое отношение, а пламенное, иногда до смешного пламенное. Внедрить эмпириокритицизм в марксизм представлялось задачей первостепенной важности. Эмпириокритицизм даст марксизму недостающую ему гносеологическую основу, позволит «элиминировать» (это словечно было постоянно у меня на языке!) его слабые стороны и ещё более цементировать сильные. Мне казалось, что в марксизме нужно произвести очистку понятий, подобную той, что в физике и химии производил Мах. Все основные понятия марксизма, какковы, например, «общественное бытие», «общественное сознание», «производительные силы», «производственные отношения», «класс», «идеология» и другие, должны подвергнуться гносеологической критике, в итоге чего быть установленными твёрдо, с максимальной точностью и ясностью. Раз Мартов, один из лидеров меньшевизма, сидит передо мною и, в отличие от Плеханова и Ленина, готов слушать «хоть три часа», — как не воспользоваться такой исключительно благоприятной обстановкой, не рассеять могущие проникнуть в партию ложные суждения об эмпириокритицизме! Это тем более необходимо, что эмпириокритическая философия неизвестна партии и, не знакомясь с нею, её уже начали смешивать с «эмпириомонизмом» Богданова (таково было название его книги, появившейся в 1904 г.). А взгляды его, по моему тогдашнему убеждению, были глубоко неверны: защищаемая им психоэнергетика, изобретая «душевную энергию», требует помещения психических явлений и явлений сознания в общий энергетический ряд, она говорит о прямом переходе процесса психического в непсихические процессы — в ряд тепловой, световой, механической энергии, что противоречит закону сохранения энергии. И вот воспользовавшись желанием Мартова слушать — я начал, следуя за «*Kritik der reinen Erfahrung*», излагать биомеханику познания Авенариуса, потом взгляды Маха, отношение психического к физическому, теорию интроспекции в «Человеческом понятии о мире» и т. д.

Воспоминание об этой первой встрече с Мартовым, а не о тех позднейших, что я имел с ним в 1906 г., в 1913 г и в 1917, — осталось невырываемым из моей памяти. Мартов сидел передо мною в какой-то, по своему обыкновению, изогнутой позе. Пенсне всё время спадало с его носа, он то и дело поправлял его и поверх стёкол бросал на меня близорукий взор красивых и добрых глаз, столь непохожих на ленинские. Ленин не курил. Мартов не вынимал папиросу изо рта и слушал, смотря на кончик папиросы. Когда она подходила к концу, от неё он закуривал новую: за три часа, что мы были вместе, он выкурил, вероятно, не менее 35 штук. Чем внимательнее он слушал меня, тем более я входил во вкус изложения эмпириокритической теории, тем более росло восхищение Мартовым. Он был удивителен. Суть незнакомых ему вопросов он схватывал с поразительной тонкостью и быстротой. Когда я запинаясь, затрудняясь облечь мысль в ясное выражение, Мартов немедленно приходил на помощь, и то, что я хотел бы сказать, формулировал раньше меня. Смотря на кончик папиросы и размышляя, он находил вариации искомой формулировки и говорил: «вот так, мне кажется, будет лучше, вернее». Меня, уже несколько лет занимавшегося этими вопросами, быстрота, с которой Мартов схватывал разные проблемы, так ошеломляла, что я несколько раз останавливался и спрашивал: но это вам уже известно? В том и дело, что это раньше ему не было известно. Он схватывал всё на лету. Например, в отличие Ленина он понял, что хотел сказать Беркли своей формулой *esse est percipi*, но правильно заметил, что скорлупа этой формулы так жестка, что «может отбить охоту её разгрызть и добраться до ядра ореха». Мельком в связи с этим я упомянул, что Ленин пришёл в раздражение, услышав от меня такие формулы, как «без субъекта нет объекта, без объекта нет субъекта». Содержание, скрывающееся за этими ещё более трудно разгрызаемыми формулами, Мартов тоже превосходно понял, всё-таки заметив, что на моём месте, в интересах защищаемой мною философии, он никогда бы не пользовался формулами, которые «эпатируют» настолько, что от них «лошади способны шарахаться в сторону».

Мартов умер в 1923 г. в Берлине в эмиграции (третий раз!) на пятидесятом году. Заседания, собрания, прения, споры, волнения, нескончаемое словоговорение, бессонные ночи, невынимаемая изо рта папироса, эмигрантская тина — погубили этого талантливого человека. Даже удивительно, как при такой жизни его хилый организм дотянул до 50 лет. Как тургеневский Рудин, он мог бы сказать: «Природа мне многое

дала, но я умру, не сделав ничего, достойного сил моих». Он написал множество газетных и журнальных статей, брошюр, неоконченную книгу воспоминаний, но то, что он дал, лишь небольшая, невеская, частица того, что мог бы и должен бы дать. Если бы этот человек освободился от связывающего его мозг ортодоксального марксизма, способность быстро схватывать и понимать самые сложные проблемы сделала бы из него первоклассного теоретика, обеспечила бы ему проникновение в самую гущу социальных явлений.

Расставаясь со мною после длительной беседы, в течение которой, хочу сугубо подчеркнуть, ни разу не был поднят вопрос о партийных разногласиях и роли в них Ленина, Мартов в дружеской форме мне сказал:

— Должен вам сказать, вне того, что читал у Маркса, Энгельса, Плеханова, я мало занимался философией. Прочитал Канта, читал Гегеля, кое-кого другого, осилил несколько историй философии, но такого багажа мало, чтобы как следует разобраться и судить об ошибках или действительной ценности той философии, о которой мы с вами говорили. Какой вывод у меня складывается из разговора с вами? У марксизма вы хотите вынуть всю его традиционную, испытанную в боях философию и заменить другой. Вы думаете, что такая операция никак не отразится на основных частях революционного марксизма, а лишь укрепит их. Этот взгляд я совершенно не разделяю. Скажу вам откровенно: соединение марксизма с защищаемой вами философией мне представляется как один из видов ревизионизма. Трудно допустить, что этот ревизионизм не перекинется в область социологическую, экономическую, политическую. Пример Струве, начавшего с замены материализма философией Рилля, даёт именно такую картину. Но эмпириокритицизм, как я мог заключить из нашего разговора, философия более серьёзная, чем Рилля и чем те, которыми пользуются Бернштейн и другие ревизионисты. Поэтому с ним нужно бороться не наскоком, а серьёзной критикой, основательным анализом.

Расставшись с Мартовым, я думал: сильно же отличается он от Ленина! Это два разных психологических типа. С тем и другим пришлось обсуждать одни и те же вопросы, а какая разница в самом подходе к ним. Мартов, прежде чем их откинуть, — хочет понять. Ленин же (как и Плеханов) считает, что нужно лепить бубновый туз, даже не разбираясь; Мартов говорит: нужен не наскок, а серьёзная критика, Ленин же, очертив вокруг себя круг, всё, что вне его, топчет ногами, рубит топором. И опять, уже не первый раз, меня укусила мысль: большевик ли я, в какой степени я большевик? Если речь идёт о волюнтаризме и проявлении воли, которое меня так прелестило в ленинском «Что делать?» и чего — я инстинктом чувствовал — нет у Мартова и других меньшевиков (я никогда не забывал киевского Александра-Исува!), — тогда и *только по этому признаку* — я большевик. Но этого ведь ещё недостаточно, чтобы я продолжал считать себя связанным принадлежностью к большевистской группе. Связь с нею разбил сам Ленин, и после свидания с Мартовым, произведшим на меня несомненное впечатление, эта связь стала ещё слабее, превратилась в тонкую ниточку.

Симпатия к Мартову, появившаяся во время нашей встречи, наверное, усилилась, если бы я знал следующий факт. В № 77 «Искры» (от 5 ноября 1904 г.) появилась статья Ортодокс (Л. И. Аксельрод) под заглавием «Новая разновидность ревизионизма». В это время всем уже стало известным, что большевики создают свою собственную партию, готовятся организовать свою газету и во главе этого политического предприятия стоит, кроме Ленина, Богданов. «Дуумвират» Ленина и Богданова подвергся обстрелу меньшевиков. Каким это образом Ленин — ультра-ортодокс, не выносящий за тысячи километров малейшего запаха ревизионизма, — оказался в политическом браке с «господином» Богдановым, явным ревизионистом, ибо он не признаёт философии ортодоксального марксизма? Куда делась принципиальная непримиримость, которой так щеголял Ленин, когда писал против оппортунистов и ревизионистов «Шаг вперёд — два шага назад»? С явным намерением прицельно Ленина и столкнуть его с Богдановым Л. Ортодокс и начала свою статью следующими словами:

«Приблизительно года полтора тому назад Ленин обратился ко мне с предложением выступить против новой «критики» Марксовой теории, выразившейся в сочинениях г. Богданова. Ленин энергически настаивал на том, чтобы я немедленно занялся оценкой этого течения. Он говорил мне при этом, что он обращался с этим предложением к Плеханову, но что Плеханов, вполне разделяя необходимость такой работы, тем не менее отказался от неё, вследствие более насущных и неотлагательных партийных занятий».

За сим следовала критика «ревизионизма» Богданова и указание, что свои не-

верные взгляды он черпает из философии Авенариуса и Маха, а эти люди якобы отрицают существование независимого от нас материального мира и во внешнем предмете усматривают лишь метафизическое предположение. Статья Ортодокс была до чрезвычайности слаба. Из неё проступало полное непонимание эмпириокритицизма, сущность которого она излагала несвязанными, аляповатыми фразами. Ошибки Богданова, порождённые не эмпириокритицизмом, для человека, знающего его произведение, заметить очень легко. Ортодокс прошла мимо них. Плеханов, в то время, нет сомнения, незнакомый с эмпириокритицизмом и смешавший его с философией Богданова, от вступления в печатный бой дипломатически уклонился, а толкнул свою ученицу Ортодокс, и в этом первом выступлении ортодоксии против эмпириокритицизма — она сильно осрамилась. Хорошо помню, что на меня её статья произвела тягостное впечатление. Она напомнила *rue du Foyer*, где Ленин пытался растерзать эмпириокритицизм с помощью ругательств. Она мне напомнила другое: три месяца перед этим Мартов мне говорил, что с эмпириокритицизмом нельзя бороться «наскоком», против него нужно направить только серьёзную, основательную критику. Почему же Мартов, будучи одним из редакторов «Искры», печатает теперь «наскок» Ортодокс? Хорошие слова Мартова, решил я, разошлись с его делом. Я ошибся. Через двадцать лет — Мартова уже не было в живых — я узнал из журнала «Пролетарская Революция» (1924, № 1, стр. 200—202), что он был решительно против помещения в «Искре» статьи Ортодокс, на чём настаивали Плеханов и, в угоду ему, вероятно, Аксельрод и Засулич. Не ограничиваясь словесными возражениями, Мартов выразил свой протест даже в форме письменного заявления:

«Признавая статью тов. Ортодокс в научном отношении посредственной, а в литературном отношении неподходящей для политической газеты, я сверх того думаю, что такая статья *слабостью* своей критики и неубедительностью заключающихся в ней обвинений против нового рода ревизионизма может только способствовать популярности распространяющегося в рядах социал-демократии модного философского течения. Признавая серьёзную идейную борьбу с новым видом ревизионизма, я думаю, что эта борьба должна вестись не с помощью газетных статей, а в «Заре», где только и возможна тщательная и глубокая критика теоретических заблуждений Богданова и К^о»³⁸.

Читая в 1924 г. это заявление, я думал: а всё-таки недаром я просидел с Ю. О. Мартовым три часа в кафе на *Plaine de Plainpalais*, излагая ему эмпириокритицизм. Если думу мою почтут проявлением самомнения — не буду возражать.

После встречи с Мартовым, а в этом простом факте Ленин, о чём ниже, усмотрит моё «двурушничество», не могу рассказать о другой встрече, на этот раз с Богдановым, а беседа с ним мне дала понять, насколько с конца июня, сменив полосу «благоволения», стало враждебно ко мне отношение Ленина.

Богданов, как и Ольминский, приехал в Женеву в феврале 1904 г. Я познакомился с ним у Ленина. В конце февраля или начале марта Ленин пригласил Богданова, его жену, Ольминского и меня сделать прогулку в ближайшие к Женеве горы: во время неё много говорилось об «интенсификации» борьбы с меньшевиками. Потом я видел Богданова два раза по следующему поводу. Я рассчитывал, что Богданов, имевший в России обширные литературные связи, окажет протекцию для помещения в журнале «Обозрение» моей статьи об экономическом положении Донецкого бассейна, составленной, главным образом, по данным «Торгово-промышленной газеты». Основную мысль газеты о низком уровне развития южнорусской угольной промышленности и металлургии Богданов признал совершенно правильной, но нашёл, что статья в литературном отношении слаба, её всю нужно переделать, перекроить, заново написать. Я показал её Ленину. «Неправда, — сказал он, — статья неплохо написана. Она ясна и грамотна, больше не нужно. Беда её в другом: основная мысль в ней — ни черта не стоит! Нельзя говорить о низком уровне индустрии юга. Она

³⁸ Статья Ортодокс вошла в её книгу «Философские очерки», изданную в 1907 г. Первые годы советской власти Ортодокс (Л. А. Аксельрод), вместе с Дебориним, считалась охранителем чистоты марксистской материалистической философии. Пишущему эти строки пришлось с нею резко полемизировать в печати, что не помешало нам в 1922 и 1926 гг. вести весьма мирные разговоры. На книжных полках её комнаты, будучи у неё в 1926 г., я, увидев весь свикллит эмпириокритических философов, спросил: неужели вы продолжаете думать о них, как в 1904 г.? Л. И. Аксельрод очень честно призналась, что она во многом изменила свой взгляд на них. «Можно не соглашаться с ними, — сказала она, — но это серьёзная философия».

развивается темпом, превышающим американское развитие. Не принимать этого во внимание, преуменьшать быстрый ход капиталистического развития, а вместе с ним ещё более быстрое развитие рабочего движения, притом в форме революционной,— значит повторять народнические ошибки и не видеть открывающихся перед нами больших перспектив».

После таких противоположных отзывов, не зная, какому богу молиться, я статью уничтожил.

Из Женевы Богданов уехал в Париж, и встретиться с ним пришлось лишь в начале августа. Он жил в это время, как уже упомянуто, в компании с Лениным, недалеко от Женевы, и приехал в неё на несколько часов, кажется, для покупок книг. Я встретил его на *rue Carouge*, выйдя из столовой Лепешинских. «Мне с вами,— сказал он,— надо кое о чём переговорить, я иду на вокзал, проводите меня». В пути я услышал от него следующее. Ленин, беседуя с ним о составе женевской группы большевиков, ему поведал, что он неожиданно «нарвался» в моём лице на случай «совершенно дикого обскурантизма», прикрытого путаной философской фразеологией.

— Когда я узнал, что вы приносили ему Авенариуса и Маха и влиянием их философии он объясняет ваше затмение, пришлось с Лениным повоевать. Вас я не знаю, хорошо или худо вы защищали философию Маха, тоже не знаю, но всё-таки я не мог не указать Ленину, что согласие с взглядами эмпириокритицизма к обскурантизму не ведёт, что я сам прошёл через эту школу и разделяю её критику философского материализма. Ленин стал возражать, ссылаться на Плеханова, спорить с излишним азартом и большой нервностью. Мы с ним продискуссировали целых два дня и чуть-чуть не поссорились серьёзно. Суждения Ленина о философии я слышал от него *впервые* и убедился, что об этих вопросах с ним лучше не говорить, Страсти спорить у него много, а знаний мало. Хотя он ссылался, например, на «вещь в себе» Канта, я вынес твёрдую уверенность — «Критику чистого разума» он не читал, в лучшем случае, в неё заглянул. Относительно кантовской «Критики практического разума» он прямо заявил, что счёл её столь пустой и никому не нужной, что дальше первых страниц не пошёл. Пospорив два дня и видя, что спор ни к чему доброму не приведёт, мы с Лениным решили, что сориться из-за «вещи в себе» или чего-то вроде этого нам не годится и потому лучше впредь о философских вопросах не говорить. Я вам сообщаю всё это вот к чему. Несколько медвежье обращение Ленина с философскими доктринами ни на секунду не подрывает его авторитета — выдающегося организатора, экономиста, политика, самого большого человека в нашей партии. Для вас, должно быть, не секрет, что мы решили порвать партийную связь с меньшевиками, иметь собственную организацию, свой центральный комитет и комитеты на местах. Главным инициатором и руководителем этого дела является, конечно, тов. Ленин, которого «Искра» объявила политически мёртвым человеком. Борьба с меньшинством предстоит трудная, но мы победим, большинство партии пойдёт за нами. В предстоящей борьбе мы все, как один человек, должны дружно сгрудиться около Ленина, всячески помогать ему, оказывать ему максимальную поддержку, хотя для некоторых из нас не все стороны его характера приемлемы. Рассматривая с этой точки то, что произошло между Лениным и вами и не входя ни в какие частности, тем более что я их не знаю, должен сказать, что не могу одобрить вашего поведения. Я обратил внимание, что Ленин вас называл «заносчивым обскурантом», а Н. К. Крупская указала, что вы в споре с ним вели себя «вызывающе дерзко». Так нельзя, право, нельзя! Особенно теперь, когда Ленин подвергается такому поношению со стороны «Искры» и меньшевиков. Среди большевиков должно быть больше почтения к Ленину, нам нужно его защищать, а не вести против него критику, да ещё вдобавок дерзкую. Вам надо уладить это дело.

— Что же вы хотите от меня,— воскликнул я,— намекаете ли вы, что я должен просить у Ленина извинение?

Я рассказал Богданову, по поводу чего шёл спор с Лениным, какими ругательствами он меня осыпал, как сознательно старался «опозорить», объясняя расхождение с ним не только тем, что я попал под влияние Авенариуса и Маха, а якобы и под влияние Булгакова, по его изящному выражению, сидящего в вонючей яме.

— Считаете ли вы честным такой спор полемики? Вполне соглашаясь с вами, что Ленин большой человек, я всё-таки никогда не соглашусь стоять перед ним на коленях. Партия не должна делиться на «заезжателей», которым всё позволено, и «заезжаемых», которым вменена обязанность молча подчиняться всему, что они слышат сверху.

— Это уже вы цитируется из скверной литературы Мартова,— сухо заметил Богданов. После моей реплики он, видимо, потерял желание вести со мною разговор. Сказав, что ему нужно спешить на вокзал, он сел в проходивший трамвай, протискиваясь со мною весьма холодно. Что он хотел от меня? Вероятно, полагал, что к назиданию «уладить» конфликт приседанием перед Лениным я отнесусь с полной готовностью и предупредительностью!

В связи со встречами с Богдановым следует коснуться той начальной стадии его отношений с Лениным, которую я назвал *lune du miel*. В 1908 г., в разгар уже прошедшей между ними лютой ссоры, Ленин писал М. Горькому:

«Лично я с ним (Богдановым) познакомился в 1904 г., причём мы сразу презентовали друг другу: я «Шаги» («Шаг вперёд — два шага назад»), он — одну свою тогдашнюю философскую работу. И я тотчас весной или летом писал из Женевы в Париж, что он меня своими писаниями сугубо разубеждает в правильности своих взглядов и сугубо убеждает в правильности взглядов Плеханова, а с Плехановым, когда мы работали вместе, мы не раз беседовали о Богданове».

Память несколько изменила Ленину. Впервые Ленин увидел Богданова в феврале 1904 г. Возможно, что тогда тот «презентовал» ему свою философскую работу «Эмпириомонизм», книга I, но Ленин не мог ему в этот момент «презентовать» «Шаги». Эту вещь он только начал писать, и вышла она из печати в половине мая. Возможно (но я в этом не уверен), Ленин весной или летом писал Богданову в Париж о своём несогласии с его философией. Богданов на это письмо, во всяком случае, не обратил внимания, так как из вышеприведённого с ним разговора следует, что *впервые* его суждения о философии он услышал в августе, поселившись рядом с Лениным у *Luc de Bré*. Я предполагаю, что разговор с Богдановым о моём «обскурантизме» был неким манёвром «Ильича». Право, смешно думать, что конфликту со мною и моему обскурантизму он придавал столь большое значение, что счёл нужным сообщить о нём Богданову. У Ленина тут был другой умысел. Закрывая политический союз с Богдановым, он, на примере со мною, хотел показать, что подвергает беспощадной экзекуции всякого открыто заявляющего себя противником материалистической философии. Он хотел припугнуть Богданова: мы, намекал он, идём с вами вместе, но с условием, чтобы ваши «эмпириомонистические штучки» вы забыли и не афишировали. Богданов манёвра не понял, а если понял, страха не обнаружил и начал с ним спорить. При «медвежьём» отношении Ленина к философии и его нетерпимости, спор грозил окончиться «серьёзной ссорой», но, насилуя себя, Ленин пошёл на попятную. Об этом указывает и цитированное письмо Ленину к Горькому:

«Осенью 1904 г. мы окончательно сошлись с Богдановым как большевики и заключили тот, молчаливо устраняющий философию, как *нейтральную область*, блок, который просуществовал всё время революции (1905—1906 гг)». Почему же Ленин пошёл на такую недопустимую, с его точки зрения, ересь, как признание философии «нейтральной областью», т. е., иначе говоря, допустил, что член партии может не придерживаться философского материализма, а такой взгляд разделяли в то время, кажется, все социалистические партии, за исключением русской. Почему спор Ленина с Богдановым не окончился тем, что его спор со мною? Объяснение просто: я был капралом, в лучшем случае, прапорщиком революции, а Богданов — генералом, ради кокетства подписывавшим псевдонимом «Рядовой» издаваемые в Женеве революционные брошюры. В 1897 г. он начал свою литературную карьеру, написав популярный «Краткий курс экономической науки», ставший в социал-демократических и рабочих кругах основным руководством при знакомстве с политической экономией³⁹. В 1899 г. он выпустил книгу «Основные элементы исторического взгляда на природу», с явным влиянием на неё «Натурфилософии» Оствальда; в 1901 г. — книгу «Познание с исторической точки зрения», где, по моему убеждению, с крайней грубостью вставлял «факты знания» — не их физиологическим субстратом, а стороной «психической» — в общий энергетический ряд. Хотя эти работы не пользовались такой популярностью, как его «Курс экономической науки», они расширяли его известность, и к тому времени, когда Ленин встретился с Богдановым, у того было уже литературное имя. Он был очень известен в социал-демократической среде, имел

³⁹ Достоинства этого ортодоксального, страницами очень упрощенческого курса — не особо велики. Позднее, после 1910—1912 гг., когда о ком-либо хотели сказать, что в экономической науке он не силен и мыслит шаблоном, — о нём говорились: «мыслит по Богданову».

обширные литературные связи в Петербурге и в Москве, в частности с М. Горьким. Около Ленина, твёрдо решившего организовать свою партию, не было ни одного крупного литератора, даже правильнее сказать, кроме Воровского, вообще не было людей пишущих. Богданов, объявивший себя большевиком, был для него сушей находкой, и за него он ухватился. Богданов обещал привлечь денежные средства в кассу большевизма, завязать сношения с Горьким, привлечь на сторону Ленина вступающего в литературу бойкого писателя и хорошего оратора Луначарского (женатого на сестре Богданова), Базарова, молодых марксистствующих московских профессоров. И Ленин, человек очень практичный, увидев, какой большой ущерб принесла бы его плану ссоры с Богдановым, обуздal себя, согласился с «ересью», с признанием философии «нейтральной областью». Ленин в это время сугубо ухаживал за Богдановым и именно с ним, а не с жившими в Женеве большевиками, разработывал детали осуществления своего политического плана. И когда состоялось «историческое» совещание 22 большевиков, плебисцировавшее ленинские планы, на этом совещании Богданов сидел «одесную» Ленина в качестве главнейшего компаньона, *persona grata* — организующейся новой партии. «Блок» с Богдановым начал трещать летом 1906 г. Ленин, прочитав только что написанную Богдановым III-ю книгу «Эмпириомонизма», по его собственному признанию, «озлился и *взбесился необычайно*» и послал ему «объяснение в любви» — письмо по философии в размере трёх тетрадок (см. письмо к Горькому в 1908 г.). Письмо, иронически самим Лениным называемое «объяснением в любви», содержало так мало знания философии и столь много оскорбительных для Богданова слов, что последний возвратил его Ленину с указанием, что для сохранения с ним личных отношений следует письмо считать «ненаписанным, неотправленным, непочитанным». Нужно думать, что это не произвело большого впечатления на Ленина. В 1906 г. Богданов ему уже не был нужен, как в 1904 г. Молчаливый договор о признании философии нейтральной областью он считал порванным. Испортившиеся между ними в 1906 г. отношения ухудились ещё более в 1907 г., когда обнаружилось, что взгляды на III Гос. Думу Богданова, отличаются от ленинских. А в 1908 г. наступил уже полный разрыв: в книге «Материализм и эмпириокритицизм», заострённой, главным образом, против Богданова, — Ленин, можно сказать, проклял его как вредного еретика, отступающего от канонов марксистской церкви. И так как Богданов по приходе Ленина к власти оказался в числе очень немногих непокаявшихся в своей ереси, он не получил никакого командующего политического поста, стоял в тени, и Ленин не переставал отзываться о нём с великим раздражением⁴⁰.

Я упомянул о совещании 22-х большевиков, на котором согласно воле и плану, задуманному Лениным, заложена основа большевистской партии. Это совещание состоялось в ноябре и продолжалось три дня. На него Ленин созвал самых важных и верных своих соратников из Женевы и лиц, только что приехавших из России. Большевики-мужья с большевичками-жёнами придавали совещанию несколько «семейный» вид. В числе 22 были: Ленин, Крупская и только что приехавшая из Москвы сестра Ленина — Мария Ильинична; Богданов и его жена, Луначарский и его жена, Бонч-Бруевич и его жена (В. М. Величкина), Гусев и его жена, Лепешинский и его жена, Красиков, Воровский, Ольминский, Лядов-Мандельштам, Землячка (член ЦК, прибывшая из России). Кто были четыре остальные члены совещания — не помню. Я — участник в течение почти шести месяцев всех совещаний большевиков, постоянный посетитель «раутов» у Ленина, в феврале-апреле очень часто с ним выдававшийся, пользовавшийся (о том свидетельствует «письмо Нилова») его доверием и даже «благоволением», — на совещание 22-х не был приглашён: Ленину донесли, что я «снохиваюсь» с меньшевиками. Ну а если бы Ленин позвал меня на это совещание — пошёл ли бы я? Нет. Я уже переставал быть «большевиком», хотя открытого, оконча-

⁴⁰ Богданов, врач и естествовед, умер в 1928 г., заразившись во время экспериментов с переливанием крови, которыми он занимался в медицинском институте Москвы. Мне пришлось встретиться с ним в 1927 г. и иметь интересную беседу о Ленине. От него я узнал, с какой надписью он возвратил Ленину в 1906 г. «объяснение в любви». «Наблюдая, — сказал мне Богданов, — в течение нескольких лет некоторые реакции Ленина, я, как врач, пришёл к убеждению, что у Ленина бывали иногда психические состояния с явными признаками *ненормальности*. Я не вошёл тогда в рассуждение на эту тему с Богдановым, но мне, как тогда, так и теперь, кажется, что все люди, подобно Ленину, выходящие из общего ранга, имеют и должны иметь некоторые черты аномальности. Именно поэтому они и не похожи на других.

тельного разрыва с большевистской организацией ещё не было. Вот после чего этот разрыв произошёл.

В томе XXVIII сочинений Ленина (издание 1935 г., стр. 425) приводится письмо его к Бонч-Бруевичу, датированное 13 сентября 1904 г., посланное Лениным перед его возвращением в Женеву, из которой он уехал в конце июня. В нём есть такая фраза:

«Что о Самсонове пан писал четыре дня назад? Надо было его послать прямо»... В примечании редакция тома указывает, что псевдоним «пан» и «Самсонов» ей не удалось раскрыть. Это свидетельствует, что редакторы не принадлежали к слою большевиков, имевшему в 1904 г. сношения с Лениным, и не особенно усердствовали в желании раскрыть псевдонимы. В других советских изданиях, например, в воспоминаниях Лепешинского, ясно указывается, что Самсонов есть Вольский, а это Валентин, биографические данные о котором можно найти в дополнительных отделах к томам третьего издания сочинений Ленина. Что же касается псевдонима «пан» — более чем вероятно — это Вацлав Вацлавович Воровский.. В виду польского происхождения так иногда его называл Ленин.

Итак, 13 сентября за несколько дней до своего возвращения в Женеву, Ленин запрашивал о Самсонове. Что значит в этом запросе непонятная фраза: «надо было его послать прямо»? После «прямо» в тексте письма Ленина, уверен, стояла не точка, а многоточие. Если бы Ленин хотел написать: «надо было его послать прямо к чёрту», почему бы ему этого не сделать? Но на губах Ленина было, конечно, более «крепкое», весьма нецензурное выражение, и он постеснялся вставить его в своё письмо *en toutes lettres*. Из переписки обо мне (о ней, разумеется, я не ведал) можно заключить, что имя моё в сентябре 1904 г. вызывало у Ленина весьма злобные выражения.

Шестнадцатого — а может быть, семнадцатого сентября, хорошо не помню, — один товарищ большевик, живший недалеко от меня, передал, что Ленин просит меня прийти к 9 часам вечера в «обычное место», на *quai du Montblanc*. Это повергло меня в недоумение. На минуту в голову пришла мысль: после споров по философии с Богдановым Ленин решил, что из-за этого расходятся не следует, может быть, и мне он скажет то же самое? Встреча с Лениным предположение немедленно устранила. С холодным, злым лицом, еле подав руку, Ленин ошарашил вопросом:

— Принадлежите ли вы ещё к нашей группе?

О! — подумал я, словечко «ещё» звучит вызовом. Делать вид, что я его не замечаю, — не желаю. На его тон следует отвечать тоном соответствующим. И поэтому я ответил:

— Да, я ещё не ушёл из группы большинства.

— Итак, вы пока не ушли из группы. Это мне было важно знать, так как если бы вы мне ответили, что ушли из группы, я повернулся бы и никаких разговоров с вами вести не стал. Я не буду вас спрашивать, почему вы не подписали протеста 37 большевиков, мне говорили, что в это время у вас были какие-то неприятности личного характера.

— У меня в это время умер сын.

— В этом ли объяснение или в другом — в данном случае это не столь уж важно, я хочу говорить о вещах более важных. Пока вы состоите членом большевистской группы, я вам сейчас скажу, что абсолютно недопустимо делать и что, однако, вы делали.

За этим последовал каскад с яростью произнесённых слов, из которых каждое преследовало цель посильнее и побольнее оскорбить. Даже спустя 48 лет я не могу вспоминать об этом спокойно. Моя жена, знавшая все мои недостатки — импульсивность, непростительную лёгкость, с которой в молодости прибегал к кулаку, а будучи студентом, даже к дуэли, — однажды мне сказала, что никогда не могла понять, как тогда я не бросился на Ленина или — ещё хуже — не сбросил его с набережной в Женевское озеро: «Знать, сильно было его гипнотическое влияние на тебя».

— Очень многим известно, — начал Ленин, — а мне особенно, что вы уже давно хотите возвратиться в Россию. Для этого нужны деньги, паспорт и явки в города иные, чем в Киев, куда вы не можете появиться, там вас знают. Ни того, ни другого, ни третьего у вас нет. Желая получить необходимое, вы сугубо ухаживали за мною, за Павловичем (Красиковым), за Бонч-Бруевичем. А теперь мне стало известно, что одновременно за этими вещами вы бегали и к меньшинству. Вы рассуждали так: не получу паспорт и денег от большинства, получу их от меньшинства. Если для этого нужны будут соответствующие заявления, присяги — сделаю их. Я называю это самым

гадким, отвратительным двурушничеством, перелётом то на одну, то на другую сторону. Одна рука здесь, другая там. Такое поведение заслуживает только презрения.

Вне себя я крикнул:

— Всё, что вы говорите, мерзкая ложь!

— В том-то и дело, что не ложь. Вы сначала снюхались с кретином Мартыновым, он вам даже разные документки из «Искры» таскал, а потом при его посредничестве нашли ходы в самый центр меньшинства и стали блудить с Мартовым: дайте мне хороший паспортик и деньжонок, я убегу от Ленина и большинства.

— Всё ложь! Всё мерзкое измышление!

— Это вы лжёте. Будете ли вы отрицать, что виделись с Мартовым?

— Не буду, но неужели свидание с Мартовым, ещё недавно вашим близким товарищем, есть акт столь позорный, что за него нужно клеймить двурушничеством? Свидание с Мартовым произошло чисто случайно, я его не добивался и после него ни с ним, ни с кем-либо из других меньшевиков ни в какую связь не входил. При свидании с Мартовым не было произнесено ни слова ни о партийных делах, ни о паспорте, ни, тем более, о деньгах.

— О чём же, позвольте вас спросить, вы тогда разговаривали с Мартовым, надо думать — о погоде?

— Мы всё время говорили о философии, только о ней.

— Почему же, назначив свидание с Мартовым, а оно, убеждён, не было случайным, вы говорили не о партийных делах, которые всех интересуют, а ни с того ни с другого завели с ним разговор о философии, которой Мартов, я-то это хорошо знаю, почти не интересовался? Или, может быть, потому завели разговор о философии, чтобы поплакать в жилетку Мартова, пожаловаться, что Собакевич-Ленин посёк ваших философов? Нет, если разговор о философии у вас с Мартовым был, то это только для затравки.

Не давая произнести мне ни слова, Ленин в разных вариациях повторял всё то же обвинение в двурушничестве, в желании недостойными способами «подцепить паспортик и деньжонок». До сих пор Ленин толкал и поощрял своих товарищей к отъезду в Россию. Он знал, что многие из них оседают за границей и не спешат из неё уехать, далеко не всегда с охотой меняют жизнь в Женеве на угрожаемую тюрьмой жизнь в подполье и с фальшивым паспортом в России. В отношении меня этот вопрос получил странный оборот. О моём желании уехать в Россию Ленин говорил как о чём-то меня порочащем. Он связывал его с двурушничеством, с каким-то обманом. Потеряв доверие ко мне, он, надо предполагать, думал, что с деньгами и паспортом, полученным от большевиков, я, приехав в Россию, «переметну» во вражеский стан, к меньшевикам. Он упрекал меня в том, что за оказываемое в течение месяцев доверие я отплатил «распространением слетней о большинстве (??)», но на моё требование сказать, о каких слетнях идёт речь, Ленин отвечал: «Дружили с Мартовым, виделись с Мартовым — кто поверит, что в этом милом общении не злословили о большинстве». Поток сыпавшихся неожиданных обвинений в несовершенных проступках так ошеломил, что сначала я утратил способность защищаться, а это было принято Лениным в качестве признания моей вины и лишь разжигало его дальнейшие на меня нападения. Прошло некоторое время, пока, оправившись, я сам перешёл к нападению. Было бы лишним распространяться о том, что я говорил, — интереснее то, что на мои слова говорил Ленин. Я указал ему, что попал в Женеву без всякого желания побывать в ней, а только потому, что меня послал за границу Центральный Комитет в лице Кржижановского и что тот же комитет должен дать мне и возможность возвратиться в Россию. «Некоторые небольшие произведённые на меня затраты не делают меня собственностью большевистской группы. Я не могу допустить, что группа согласится дать мне средства возвратиться в Россию только в том случае, если я буду, с её точки зрения, паинькой. Торчать в Женеве бесконечно я не хочу, и хотя до сих пор о том речь никогда не заходила, если бы я убедился, что вы не желаете способствовать моему отъезду в Россию, я обращусь к помощи меньшинства». На это Ленин мне ответил: «То, что вы сейчас сказали, свидетельствует о том, что произведённые на вас затраты, с точки зрения большинства, себя не оправдали». Я напомнил Ленину, что член большевистской группы Икс (не хочу назвать его имя), получив деньги и паспорт для отъезда в Россию, по пути к ней пропил деньги в лупанарии одного большого города, учинил там в пьяном виде скандал и вместо России снова очутился за границей.

— Как вы отнеслись тогда к этой истории? Вы заявили, я слышал собственными

ушами, что, не будучи попом, проповедями с амвона не занимаетесь и на происшествие смотрите сквозь пальцы. При такой морали, или, вернее, полном отсутствии её, какое право вы имеете читать мне моральные сентенции о «позорном», «недостойном» поведении, тем более возмутительные, что они выкрикиваются на основании выдуманных подозрений?

— Вы спрашиваете о моём праве? Речь идёт не о праве с точки зрения поповской морали, а праве политическом, классовом, партийном. Я сейчас объясню вам, в чём вопрос. Вы, вероятно, в лупанарий не пойдёте и деньги партийные, наверное, не пропёте, к алкоголю, я заметил, у вас пристрастия нет. Но вы можете сделать гораздо худшее. Вы можете снюхиваться с Мартыновым, человеком, всегда бывшим и оставшимся, законренным противником нашей ортодоксальной революционной старой «Искры». Вы можете одобрять реакционную буржуазную теорию какого-то Маха, врага материализма. Вы можете восхищаться якобы исканием истины Булгакова. А это всё вместе образует лупанарий в несколько раз худший, чем тот бордель с голыми девками, в который пошёл Икс. Этот лупанарий отравляет, затемняет сознание рабочего класса, и если с этой, единственной правильной для социал-демократа точки зрения, подойти к вам и проступку Икса — выводы будут разные. На вас за подмену марксизма тёмной теорией — нужно показывать пальцем, а на проступок Икса смотреть сквозь пальцы. Икс — партийно стойкий, превосходный, выдержанный революционер; и до съезда, и во время съезда, и после него он засвидетельствовал себя твёрдым искровцем, а это — знамя, что бы там ни болтали Аксельроды. Если Икс пошёл в лупанарий — значит, нужда была и нужно полностью потерять чувство комичности, чтобы по поводу этой физиологии держать поповские проповеди. К тому же, вытаскивая историю с Иксом, вы мало оригинальны. Снюхивание с Мартовым уже отразилось на вас, вы идёте путём, уже проторённым Мартовым, Засулич, Потресовым, которые года два назад ударились в большую истерику по поводу некоторых фактов из личной жизни товарища Б. Я им тогда заявил: Б. — высокополезный, преданный революции и партии человек, на всё остальное мне наплевать⁴¹.

— Из ваших слов вытекает, что ни одна гадость не должна быть порицаема, если её učinяет полезный партии человек. Так легко можно дойти до «всё позволено» Раскольникова.

— Какого Раскольникова?

— Достоевского, из «Преступления и наказания».

Ленин остановился и, засунув большие пальцы за отворот жилетки, посмотрел на меня с нескрываемым презрением.

— Всё позволено! Вот мы и приехали к сентиментам и словечкам хлопкого интеллигента, желающего топить партийные и революционные вопросы в морализирующей блевотине. Да о каком Раскольникове вы говорите? О том, который прихлопнул старую стерву-ростовщицу, или о том, который потом на базаре в покаянном кликушестве лбом всё хлопался о землю? Вам, посещавшему семинарий Булгакова, может быть, это нравится?

Это новое шпыняние Булгаковым меня вывело из себя.

— После ваших слов, — крикнул я, — не трудно догадаться, что вы пустили в ход сплетню, что я разделяю и защищаю взгляды Булгакова. Приём, который вы применяете, — нечестный. Вы слышали от меня несколько раз, что я ни в малейшей степени не разделяю религиозных, философских, социологических взглядов Булгакова, всё же ни с чем не считаясь и не стесняясь, вы упорно превращаете меня в его последователя.

Я указал дальше Ленину, что из добрых отношений и благодарности, которую я, будучи студентом, испытывал к Булгакову как талантливому и много дающему своим слушателям профессору, — он делает политическое преступление. Слово «семинарий Булгакова» он, Ленин, производит с особым оттенком, так, что можно подумать, будто это есть религиозный семинарий при духовной богословской школе, обсуждающий церковные каноны, а не кружок студентов, в котором писались и читались светские рефераты о Марксе, Энгельсе, Каутском, Михайловском, Канте, Спенсере и т. д. От упрощённого и постоянного налепливания на людей, мыслящих иначе, чем Ленин,

⁴¹ Ленин назвал фамилию, но я не хочу её называть. Какие факты из личной жизни Б. имел в виду Ленин — мне не известно.

этикеток — имён то Ворошилова, то Акимова, то Булгакова, то Мартынова — меня, в конце концов, начинает просто тошнить. Я шесть лет врашаюсь в революционной среде и нигде никогда до сих пор не видал, не слышал такого мерзкого сведения счётов, таких отвратительных приёмов полемики, такого «подсигивания», как в партийной среде Женева. Тут все приёмы борьбы считаются допустимыми.

— Вы, товарищ Ленин, не боретесь с этим злом, а даёте ему пример, ему способствуете, поощряете.

Ленин воскликнул:

— До сих пор я думал, что имею дело со взрослым человеком, а теперь смотрю на вас и не знаю: не дитя ли вы или по ряду соображений, ради моральности, хотите казаться дитятей. Вас, видите ли, тошнит, что в партии не господствует тон, принятый в институте благородных девиц. Это старые песни тех, кто из борцов-революционеров желает сделать мокрых куриц. Боже упаси, не заденьте каким-нибудь словом Ивана Ивановича. Храни вас Бог — не вздумайте обидеть Петра Петровича. Спорьте друг с другом только с реверансами. Если бы социал-демократия в своей политике, пропаганде, агитации, полемике применяла бы беззубые, никого не задевающие слова, она была бы похожа на меланхолических пасторов, произносящих по воскресеньям никому не нужные проповеди.

Ленин стал со смаком рассказывать, как мастерски умел ругаться Маркс, как хорошо ругается его зять Лафарг и вообще, как в этом отношении сильны все французские политики, умеющие «так замазать морду противника, что он её долго не может отмыть».

— Нам,— сказал я,— у французов в этом отношении учиться нечего, у нас для сокрушения противника, даже партийного товарища, есть бубновый туз. Я до сих пор не могу забыть, с какой быстротой вы занесли меня в категорию злейших врагов и каким потоком ругательств меня наградили, как только узнали, что в области философии я не притерживаюсь ваших взглядов.

— Вы правы, на этот раз абсолютно правы. Все уходящие от марксизма — мои враги, руку им я не подаю и с филистимлянами за один стол не сажусь.

По поводу ухода от марксизма у нас снова поднялся спор о философии, почти повторение сцен на *rue du Foyer*, но на этом я останавливаться уже не буду. С 9 часов вечера до половины 12-го мы шагали взад и вперёд по *quai du Montblanc*. «Нужно уходить,— думал я,— говорить больше не о чем».

Ленин предупредил меня:

— Разговор я прекращаю и ухожу. Разговор был не бесплоден — он многое для меня уяснил. В нашей организации вы, конечно, не останетесь, но если бы даже это и случилось, на какое-либо моё содействие вообще и в деле отъезда в Россию в частности — не рассчитывайте и не надейтесь.

Не подавая мне руки, Ленин повернулся и ушёл. А я ушёл из большевистской организации.

Заключение

Не могу окончить воспоминания о встречах с Лениным только словами, что я ушёл из большевистской организации. Философские дебаты с Лениным, мои и других, имеют большое продолжение, а главное — историческое заключение, похожее на вымысел, на бред — поражённого сумашествием мозга.

«Меморандум», как назвал Ленин вручённую мне тетрадку в 11 страниц, следует назвать, если не считать двух ругательных писем по адресу Канта (судя по всем признакам он остался им непрочитанным), посланных в Сибирь, Ленгнику,— первым «философским произведением» Ленина, во всяком случае, его *первым* выступлением против «махистов». Он бережно хранился у меня до осени 1919 г., когда погиб самым нелепым образом почти со всем моим «архивом», т. е. разными политическими документами, письмами, рукописями — вещами, обычно накапливающимися у всех участвующих в общественной и литературной жизни. Корзина с этим архивом была украдена на вокзале в Тамбове. Вор, конечно, думал найти в ней нечто для себя ценное, а нашёл лишь исписанную «бумагу». Впрочем, в то время и она была ценностью — курительная бумага отсутствовала, и, нужно полагать, архив в этом направлении и был утилизирован.

Так погиб ленинский меморандум, письма ко мне Э. Маха, М. И. Туган-Бара-

новского, Максима Горького (за 1915—1917 г.), Андрея Белого, В. М. Дорошевича, издателя «Рус. Слова» И. Д. Сытина и много всякого другого добра.

Меморандум Ленина тем интересен, что он в своём роде краткая «пролегомена» к «имеющей» в будущем появиться книге. В нём, как и в том, что я слышал от Ленина в июне на *rue du Foyer* и в сентябре на *quai du Montblanc*, заложены все основные «гносеологические» мысли написанной им в 1908 г. книги «Материализм и эмпириокритицизм» с подзаголовком «заметки об одной реакционной философии». Для этой книги, составленной с невероятной быстротой в Женеве, Ленин в Лондоне, в Британском музее, привлёк груды произведений. Мы находим у него выдержки и ссылки на Маха, Авенариуса, Петцольта, Карстаньена, Беркли, Юма, Гексли, Дидро, Вилли, Пуанкаре, Дюгем, Лесевича, Эвальд, Вундта, Гартмана, Фихте, Шуппе, Шуберт Зольдерн, Дингена, Фейербаха, Грюна, Ремке, Пирсона, А. Рея, Каруса, Освальда, Ланге, Риккерта и на легион других. За полгода, потраченные Лениным на составление книги, и тем более за три недели визитов в Британский музей, он не был в состоянии с должным вниманием прочитать множество книг неизвестных ему философов. В его «Философских тетрадях» — о них речь позднее — есть такая фраза: «кажись, интересного здесь нет, судя по перелистыванию». Этим методом — «перелистыванием», применённым к 1200 страницам мною принесённых ему сочинений Авенариуса и Маха, он несомненно пользовался и в отношении подавляющего числа им указываемых философов. Он не столько читал их, сколько «перелистывал», с целью найти там нечто «интересное», на что он мог бы накинуться коршуном.

Не в этом одном оригинальность его книги. Она составлялась в пылу ража, состоянии, столь характерном для Ленина. В письме к М. Горькому он писал, что, читая «распроклятых махистов» (русских), *бесновался от негодования*. Я скорее себя дам четвертовать, чем соглашусь участвовать в органе или коллегии подобные вещи проповедующей. Беснование сделало книгу Ленина уником — вряд ли можно найти у нас другое произведение, в котором была бы нагромождена такая масса грубейших ругательств по адресу иностранных философов — Авенариуса, Маха, Пуанкаре, Петцольта, Корнелиуса и других. Ленин тут работал поистине «бубновым тузом». У него желание оплевать своих противников; он говорит о «ста тысячах плевков по адресу философии Маха и Авенариуса». По выходе книги Ленина рецензент «Русских Ведомостей» (Ильин) писал, что в ней «литературная развязность и некорректность доходят поистине до геркулесовых столбов и переходят в прямое издевательство над самыми элементарными требованиями приличия». Л. И. Ортодокс-Аксельрод (её рецензия в «Современном Мире»), хотя и была в области философии единомышленницей Ленина, тоже возмущалась грубостью его книги. «Уму непостижимо, — восклицала она, — как это можно нечто подобное написать, а написавши — не зачеркнуть, а не зачеркнувши — не потребовать с нетерпением корректуры для уничтожения нелепых и грубых сравнений». Ортодокс не знала, что перед нею был текст после «корректуры», т. е., по настоянию сестры Ленина, уже подчищенный и сильно смягчённый. Трудно даже себе представить, что в нём было до исправления!

Чем же объяснить раж и беснование, с которым Ленин составлял свою книгу? В ней он писал:

«Ни единому из профессоров, способных давать самые ценные работы в специальных областях — химии, физике — нельзя верить ни в одном слове, когда речь идёт о философии. Почему? По той же причине, по которой ни единому профессору политической экономии, способному давать самые ценные работы в области специальных исследований, нельзя верить ни в едином слове, когда речь заходит об общей теории политической экономии. Ибо эта последняя такая же партийная наука в современном обществе, как и гносеология. В общем профессора-экономисты не что иное как учёные приказчики класса капиталистов, а профессора философии приказчики теологов».

Такая декларация — а в связи с нею я не могу не вспомнить плехановских ведьм с красными, жёлтыми и белыми глазами! — полна важных и, как увидим в дальнейшем, страшных выводов. Если ни одному философу нельзя верить ни в едином слове — тогда совершенно ясно, с каким априорным презрительным отрицанием всего того, что они писали, должен был их читать Ленин. Мог ли он делать серьёзные усилия понять Авенариуса или Маха, когда он заранее был убеждён, что ни единому слову их верить нельзя? «Философская сволочь», как Ленин называл всех, не разделяющих гносеологию диалектического материализма, по самой природе своей обладать истиной не способна. Познание законов общественной жизни, общей теории поли-

тической экономии — именно потому, что гносеология, теория познания вообще есть партийная наука — может быть только привилегией партии, возглавляемой Лениным. С этой точки зрения, самый малюсенький большевик всегда выше самого большого «буржуазного» учёного или философа. Обладание, подобно церкви, истиною позволяет членам партии видеть в себе существ особой, высшей породы, касты, принцев духа, носителей «объективной истины». Теория Маркса, возглашал Ленин, есть объективная истина, а всё вне её — «скудоумие и шарлатанство». *«Поэтому потуги создать новую точку зрения в философии характеризуют такое же нищенство духа, как потуги создать «новую теорию стоимости», «новую теорию ренты» и т. д.»*

Это речь изуверского, застойного, реакционного консерватора, это глагол «великого дракона» Ницше: «всё, что есть ценность, уже блещит на мне. Все ценности уже созданы, и это я представляю все сотворённые ценности». Впрочем, здесь не великий дракон Ницше, а просто наш русский 17 века протопоп Аввакум:

«Как в старопечатных книгах напечатано, так я держу и верую, с тем и умираю. Держу до смерти якоже приях. Иже кто хоть малое переменит — да будет проклят».

При такой психологии Ленина становится понятным его «беснование», когда «за полгода 1908 г.» вышли четыре книги, вносящие новшество в старопечатные книги, посвящённые, замечает Ленин, «почти всецело нападкам на диалектический материализм» — это «Очерки по философии марксизма» — сборник статей Богданова, Базарова, Луначарского и других, затем книги Юшкевича «Материализм и критический реализм», Берман — «Диалектика в свете современной теории познания», Валентинова — «Философские построения марксизма». В глазах Ленина это восстание «нищих духом» против «партийной гносеологии» (вся она, как копейка на ладони, на двух последних страничках «Меморандума!»), это бунт, внушённый Махом и Авенариусом, т. е. философской сволочью, ни единому слову которой верить нельзя. Ленин особенно возмущён тем, что в бунте принимают участие большевики, и на первом месте А. А. Богданов, ещё недавно «дорогой друг» Ленина, вместе с ним возглавлявший большевистскую организацию. Главные удары дубинки Ленина направлены, конечно, на этих большевиков-еретиков, — и лишь попутно, так сказать, боковым заездом на меньшевиков — Юшкевича и Валентинова⁴². Он считал что этими отщепенцами должен заняться «меньшевик» Плеханов, заботившийся «не столько об опровержении Маха, сколько о нанесении фракционного ущерба большевизму, и за это поделом наказанный двумя книжками меньшевиков-махистов».

Хорошо помня, какими выражениями Ленин сокрушал меня в Женеве, я мог ожидать, что найду их и в его книге. Этого не случилось благодаря его сестре А. И. Елизаровой. Получив рукопись Ленина, придя в ужас от груды рассыпанных в ней ругательств и даже просто неприличных выражений, она стала его упрасивать многое выкинуть, а многое смягчить. Идя навстречу просьбе сестры, Ленин (письмо от 19/XII 1908) согласился выбросить «неприличные выражения», а другие смягчить, но сделать это только в отношении большевиков Богданова и Базарова, но не меньшевиков — Юшкевича и Валентинова. Однако мне доподлинно известно, что А. И. Елизарова всё-таки сильно смягчила ругательства по адресу и Юшкевича и моему. После «смягчения» я мог в его книге найти «только» то, что я «путаник» и «Ворошилов», читал Дицгена и письма Маркса к Кугельману как «гоголевский Петрушка», протанцевал «публично канкан» по поводу неудачной фразы Плеханова, «хулигански» выругал некоего материалиста Рахметова (позднее стало известно, что он агент охраны), как «младенец» поддался «мистификации Авенариуса», и прочее в том же духе. Ленин в злобе на меня использовал даже опечатки в моей книге. Всё, что я в ней писал о Беркли *un esse est percipi*, он называл «бессмысленным набором слов». «Валентинов, смутно сознавая фальшь своей позиции, постарался замести (?) следы своего родства с Беркли. Валентинов путает, он не умел дать себе ясного отчёта о том, почему ему пришлось защищать «вдумчивого аналитика» — идеалиста Беркли от материалиста

⁴² Когда меня именуют меньшевиком или мне самому — ради упрощения — приходится называть себя меньшевиком, я всегда испытываю неловкость, точно чужой титул краду. По признанию меньшевиком и по собственному ощущению, я всегда был очень плохим меньшевиком, чаще не-меньшевиком — и никогда не играл в партии сколько-нибудь видной роли. Летом 1917 г. после столкновения с представителями Московского комитета меньшевиков (в 1922 г. ставших коммунистами) я вышел из партии. Сближение с их заграничной частью произошло уже после 1946 г.

Дидро. Дидро отчётливо противопоставил основные философские направления. Валентинов путает их и при этом забавно утешает нас: мы не считаем за философское преступление близость Маха к идеалистическим воззрениям Беркли».

Возвращая Ленину его слова, мог бы сказать, что он нанизывает бессвязный набор слов. Беркли я по сей день считаю философом выше Канта, о сравнении с Дидро не может быть и речи, почему мне тогда «заметать» следы своего с ним «родства», тем более что не считаю это за философское преступление?

Ленин придавал своей книге огромное значение. «Поработал я много над махистами и все их (и эмпириомонизма) тоже) невыразимые пошлости разобрал», — самоуверенно писал он своей сестре Марии. Нужно читать его письма к другой сестре — Анне, чтобы видеть, как его «изнервливает» всякое замедление в выпуске этой им рассчитанной на оглушительный эффект книги.

«Об одном и только об одном я теперь мечтаю и прошу — об ускорении выпуска книги».

То же самое в другом письме:

«Мне дьявольски важно, чтобы книга вышла скорее».

Как и в других случаях, вся мысль его судорожно направлена на то, чтобы *скорее, скорее* осуществилось его желание. Он впадает в панику, если запаздывает присылка корректур. Он буквально в отчаянии, когда в Париже, куда он приехал из Женевы, вспыхивает забастовка почтовых служащих, поэтому нет почты из Москвы, нет корректурных листов. С вздохом облегчения и радости он встречает окончание забастовки.

«Наконец! А то хорошее пролетарское дело здорово мешало в литературных наших делах».

Он непременно хочет, чтобы книга вышла к 10 апреля 1909 г. Почему именно к этой дате? Не потому ли, что это день его рождения?

«Прошу, — пишет он сестре, — нанять себе помощника для специальных посещений типографии и *подгоняния её*. Обещать ему премию, если книга выйдет к 10 апреля. Необходимо, помимо издателя, действовать на типографию. Сотни рублей не жалеть на это. Без взятки с российского дубьём не обойтись. Дать 10 рублей метранпажу, если книга выйдет к 10 апреля».

Нежданное и негаданное появление Ленина в качестве «философа партии» вместо молчаливого Плеханова, уклонявшегося вступить в серьёзную борьбу с «махистами» и ограничивающегося мелкими отписками, эффекта не произвело. Многие отнеслись к книге — как к курьёзу. Главные противники Ленина — Богданов и Базаров — ответили Ленину несколькими страничками, подчёркивая, что уровень понимания им философских проблем таков, что полемика с ним бесполезна. Несколько больше, но с тем же указанием, ответил Ленину Юшкевич. Я ничего не ответил — мой роман (или флирт?) с философией в 1909 г. кончился и уже не было никакого желания вступать в полемику, снова оживляя отчётливые сознанием вопросы. Но для меня было ясно, что книга Ленина свидетельствует о продолжающемся упорном, как в 1904 г., непонимании им ряда гносеологических положений. Например, по поводу указания, что мы можем представить себе время и среду, когда не было человека, но мысля эту среду — никак нельзя откинуть себя, эту среду мыслящего, — Ленин со злостью отвечал, что «допущение, будто человек мог быть наблюдателем эпохи до человека — заведомо нелепое». Вместе с тем он утверждал, что у нас есть «объективное знание об этой эпохе, ибо «объективная истина», проявляющаяся в «человеческих представлениях, не зависит от субъекта, не зависит ни от человека, ни от человечества». Словом, он защищал замечательную гносеологию — познание без того, кто познаёт. Покорно следуя за Лениным, такую чепуху по сей день продолжает защищать, вернее, принуждён защищать, например, Дудель в статье «Познание мира и его закономерности» (см. «Вопросы философии», 1952, № 3, изд. Акад. наук). В своих воззрениях материалистка Ортодокс-Аксельрод стояла на стороне Ленина, и всё же и она, наряду с порицанием грубости его полемики, должна была признать, что в аргументации Ленина «мы не видим ни гибкости философского мышления, ни точности философских определений, ни глубины философских проблем».

Неприятность шла и со стороны распространения книги. Следующий за неё гонорар Ленин полностью получил, но расходилась она весьма плохо, гораздо хуже, чем произведения «распроклятых махистов». Ни большого шума, ни большой полемики, ни большого интереса она не возбудила. Ленин этим был несколько обескуражен. Нельзя пройти и мимо следующего обстоятельства. Как ни старался он, пользуясь «бубновым

тузом», отпихнуться от прочитанных или «перелистованных» сочинений «философской сволочи» — всё-таки кое-что от них в его мозг скакнуло: блохи раздумья! А, в дополнение, насмешливый и презрительный тон отзывов об его книге, вероятно, стал наводить Ленина на мысль, что не всё благополучно в его воинствующем материализме. Нет ли каких-либо дефектов, делающих его, по позднейшей характеристике Ленина, «не столько сражающимся, сколько сражаемым? Не следует ли кое-что получше обдумать, повысить умение обращаться с философскими проблемами, увеличить вообще своё философское знание?

В 1913 г. опубликовывается переписка Маркса с Энгельсом о диалектике и толкает Ленина на размышления о философских вопросах. В 1914 г. он пишет очерк о мировоззрении Маркса в Энциклопедический словарь Граната и снова наталкивается на те же вопросы. В конце концов, чувствуя, что от них трудно уйти, Ленин, живя в Берне и Цюрихе, отрывает время от других занятий и в 1914—1916 гг., почти накануне революции, впрочем, её — что можно доказать — он совсем не ожидал, пробует пополнить своё знание, лучше сказать: устранить своё незнание философии. На этот раз он не «перелистовывает» книги, а — как прилежный юноша, «с карандашиком» в руках, так, как в своё время в Кокушкине читал Чернышевского, — делает из прочитанного конспекты: «Метафизики» Аристотеля, «Лекций о сущности религии» Фейербаха, о философии Лейбница и некоторых других. Но главное его внимание отведено «Логике» и «Лекциям по философии истории» Гегеля. Все эти конспекты, выдержки из прочитанного с сопутствующими им замечаниями составляют так называемые «Философские тетради» Ленина, его философский дневник, к печати не предназначенный, но после его смерти частично опубликованный в 1929 г. и полностью в 1933—36 гг. Это вещь весьма любопытная и малоизвестная. С особой силой пробудившееся у Ленина внимание к Гегелю понятно. Он чувствует, что не может собственными силами поставить крепко на ноги «партийную гносеологию», ему обязательно нужно к кому-нибудь прислониться, но к кому — раз ни одному философу ни в едином слове верить нельзя? В области философских воззрений Ленин доверял Чернышевскому, Марксу, Энгельсу, Плеханову, а все они были гегельянами. Ленин после чтения переписки Маркса и Энгельса о диалектике убедил себя, что «нельзя вполне понять «Капитал» Маркса, и в особенности его первые главы, не проштудировав и не поняв «Логики» Гегеля. По его убеждению, этого никто (Плеханов, замечает он, не составляет исключения) не сделал — следовательно, никто из марксистов не понял Маркса полвека спустя».

Бедные марксисты, клянутся Марксом, а на поверку оказывается, что никто из них его не понял. Ленин хочет быть первым марксистом, действительно понявшим Маркса, а для этого ему нужно во что бы то ни стало одолеть Гегеля. И он действительно штудирует Гегеля и с великим почтением делает из «Логики» множество выписок. Некоторые из них (в переводе Ленина) замечательны. Например:

«Воспроизводство человека есть их (двух индивидов разного пола) реализованное тождество, есть отрицательное единство рефлектирующего в себя из своего раздвоенного рода».

Или другая:

«Становление в сущности, её рефлектирующее движение, есть движение от ничто к ничто и тем самым к себе самому».

Третья выписка тоже неплоха:

«Камень не мыслит и потому его ограниченность не есть граница для него. Но и камень имеет свои границы, например, окисляемость, если есть способное к окислению основание».

Таковыми выписками заполнен конспект Ленина и подобной абракадаброй с самым серьёзным видом занимается в 1915—1916 гг. тот самый «Владимир Ильич», который в 1908 г. при первой же неясной для него фразе, мысли Авенариуса или Маха кричал о «галиматье» и «бессвязном наборе слов». Понимал ли Ленин то, что с таким прилежанием выписывал из Гегеля? На стр. 104 своих тетрадей он пишет:

«Я вообще стараюсь читать Гегеля материалистически, т. е. выкидываю большей частью боженьку, абсолют, чистую идею» и т. д.

Выкинув всё это из Гегеля — многое ли и что от него останется? А допустив, что нечто останется, — понятен ли Ленину этот остаток? Для ответа приведём отзывы и замечания, которые, читая Гегеля, он делал на страницах своей тетради: стр. 104 — «ахинея»; стр. 108 — «изложение сугубо тёмное»; стр. 113 — «почему для себя бытие едино — мне неясно. Гегель сугубо тёмный», на той же странице: «тёмная вода»;

стр. 114 — «Это производит впечатление большой натянутасти и пустоты»; стр. 116 — «переход из количества в качество (а ведь это один из главнейших пунктов! — Н. В.) до того тёмно, что ничего не поймёшь»; стр. 117 — «всё это непонятно», «сугубо темно»; стр. 124 — «переход бытия к сущности изложен сугубо темно»; стр. 133 — «очень темно».

Находя и на следующих страницах «тьму тёмного», Ленин вспоминает, что Пирсон назвал писания Гегеля «галиматъёй», и соглашается:

«Он прав. Это учить нелепо. В известном частичном смысле это на 9/10 шелуха».

Десять десятых — уже не частица, а почти всё. Но охота пуще неволи, нельзя ведь понять Маркса, не проштудировав Гегеля, и потому Ленин продолжает копаться в шелухе, сопровождая штудирование такими замечаниями: стр. 152 — «обще и туманно»; стр. 166 — «Гегель уверял, что знание есть знание Бога. Материалист отсылает Бога и защищающую его философскую сволочь в помойную яму»; стр. 169 — «ха-ха!»; стр. 170 — «неясность, недоговорённость, мистика»; стр. 171 — «эти части работы Гегеля должны быть названы: лучшее средство для получения головной боли»; стр. 178 — «чушь»; 180 — «ха-ха!»; стр. 196 — «мистика, мистика».

Штудирова Гегеля, Ленин всё более и более приходит в раздражение: стр. 246 — «швах»; стр. 247 — «архиношлый, идеалистический вздор»; стр. 248 — «nil, nil, nil»; стр. 250 — «пошло, мерзко, вонюче»; стр. 258 — «архидлинно, пусто, скучно»; стр. 274 — «слепота, однобокость»; стр. 292 — «болтовня», «попался идеалист»; стр. 294 — «ха-ха», ещё раз «ха-ха»; стр. 299 — «вздор, ложь, клевета».

Дойдя до места, где Гегель упрекает Эпикура в игнорировании конечной цели бытия — мудрости творца, Ленин раздражается руганью:

«Бога жалко! Сволочь идеалистическая!»

Если «Логика» Гегеля наполнена «темнотой», «шелухой», «вздором», «мистикой», «пошлостью», «чушью» — кстати, именно такими выражениями хлестал Ленин Маха и Авенариуса! — если отец диалектики Гегель, как в том на стр. 289 его обвиняет Ленин, «не сумел понять (а Ленин понял?) диалектического перехода от материи к движению, от материи к сознанию», не сумел показать переход количества в качество, — то на что тогда Гегель Ленину, чему он может у него учиться? Но известно, как насмешливо сказал Белинский, — русские люди издавна, с 40-х годов 19 столетия, «лезут под колпак Егора Фёдоровича Гегеля». Герцен говорил, что человек, не прошедший через горы и закал «Феноменологии» Гегеля, неполон и несовременен, ибо «Философия Гегеля — алгебра революции». Семью десятками позднее нечто этого говорит о гегелевской «Логике» Ленин: «Нельзя понять «Капитал» Маркса, не проштудировав «Логику» Гегеля». Ленин немилосердно ругает Гегеля и в то же время льнёт к нему, хотя временами кажется, что он это делает, точно повинувшись какому-то приказу, толчку извне. Ряд выписок из Гегеля Ленин сопровождает восторженной похвалой: «замечательно», «очень хорошо», «тонко и глубоко», «верно», «очень глубоко и умно», «великолепно», «замечательно», «верно и глубоко», «очень умно», «очень верно» и так далее и в том же духе. Что замечательного и великолепного находит Ленин в некоторых цитатах из Гегеля — явной абракадабры — понять невозможно, но Ленин несомненно чему-то учился у того, кого элегантно называет «идеалистической сволочью». Влияние на него Гегеля сказывается в резком изменении взгляда на Плеханова, в течение многих лет в его глазах — столпа диалектического материализма. «Философские тетради» сводят почти к нулю авторитет Плеханова. Ленин находит, что во всём написанном Плехановым по философии нет «ничего»; «nil» о большой (гегелевской) логике, т. е. собственно о диалектике как философской науке.

«Диалектика, — заявляет Ленин, — есть теория познания Гегеля и марксизма. Вот на какую сторону дела (это не сторона «дела», а суть дела) не обратил внимания Плеханов, не говоря уже о других марксистах».

Наряду с этим заявлением, неожиданно делающим идеалистическую и метафизическую теорию познания Гегеля — гносеологией марксизма, очень характерно и другое заявление Ленина:

«Плеханов критикует кантианство (и агностицизм вообще) с вульгарно-материалистической точки зрения». *Sapienti sat!* Такое замечание свидетельствует, что прежние взгляды на материализм у Ленина под влиянием Гегеля ломаются, о чём, в подтверждение, можно судить и по фразе на его устах прежде невозможной: «Умный идеалист ближе к умному материализму, чем глупый материализм» («Философские тетради», стр. 282).

Ещё совсем недавно, о том говорит вся его книга «Материализм и эмпириокри-

тицизм», Ленин при слове «философский идеализм» приходил в ярость. Для него это была поповщина, фидеизм, «реакционная теология», «принаряженная чертовщина», «игра с боженкой», придуманная приказчиками капитализма. В своих тетрадах он уже берёт идеализм под свою защиту, говоря, что «философский идеализм есть только чепуха с точки зрения материализма грубого, простого, метафизического». «Идеализм есть поповщина. Верно. Но идеализм философский есть дорога к поповщине через один из оттенков бесконечно сложного познания (диалектического) человека». «Философский идеализм есть одностороннее преувеличенное развитие (раздвоение, распушение) одной из черточек, стороны, граней познания в абсолют». «У поповщины (философского идеализма), конечно, *есть гносеологические корни, она не беспочвенна*».

Вот какую прогулку в далёкие метафизические дебри совершил Владимир Ильич Ленин под руку с Егором Фёдоровичем Гегелем. О ней, разумеется, запрещено говорить в Москве и во всех подчинённых ей коммунистических столицах. Из материализма, но уже не плехановского, а того, что не должен быть «грубым, простым, метафизическим», и из «умного идеализма», выжимаемого из «Логики» Гегеля, Ленин в своих «Философских тетрадах» начал фабриковать «партийную гносеологию», новую разновидность метафизики в виде некоей диалектической, с «самодвижением всего сущего», онтологии. Жаль, что до сих пор никто из критиков Ленина не рассмотрел этот этап в его «философии». Для его уразумения крайне интересно проанализировать содержание сделанных им извлечений из Гегеля, особенно тех, что сопровождаются возгласами: «великолепно», «замечательно», «верно», «тонко и глубоко» и т. д. Здесь для этого, конечно, нет места, и всё-таки не могу удержаться от того, чтобы, хотя бы мельком, указать, как резко отошёл Ленин от главнейшей гносеологической посылки своего материализма.

— Нужно быть идиотом, как ваш Мах, чтобы не признавать вещей в себе, — мне говорил, вернее, рычал Ленин на *rue du Foyer* в июне 1904 г.

«Вещь в себе» в его глазах, выражаясь словами Разумихина у Достоевского, была «якорем, пристанищем, пупом земли». На вещи в себе, подобно лепесткам на сердцевине артишока, держатся все явления. Она стоит позади явлений, давит на наши органы чувств, вызывает ощущения. Признание вещи в себе для Ленина тождественно с признанием объективного, материального, независимого от нас мира. Материализм — есть «признание объектов в себе, вещей в себе». Поэтому Кант выступает как материалист, когда постулирует вещь в себе, но он выступает как идеалист, объявляя, что вещь в себе непознаваема. Яростно защищая вещь в себе в своей книге, Ленин писал, что эта «вещь в себе настоящая *bête noire* Богданова и Валентинова, Базарова и Чернова, Бермана и Юшкевича. Нет таких крепких слов, которые бы они не посылали по её адресу, нет таких насмешек, которыми бы не осыпали её».

Много ли остаётся от этой вещи в себе в 1915—1916 г., когда Ленин «перепал» Гегеля? Ровно ничего. Она отброшена, похоронена. Ленин послушно выписывает всё, что о вещи в себе говорит Гегель, и без критики и сопротивления это принимает.

«Вещь в себе пустая и безжизненная абстракция».

«Вещь в себе — простая отвлечённость, не что иное, как ложная, пустая отвлечённость...»

«Вещь в себе — пустое отвлечение от всякой определённости, о коем, конечно, нельзя ничего знать, именно потому, что оно есть отвлечённость от всякой определённости».

«Вещь в себе имеет цвет, лишь будучи поднесена к глазу, имеет запах, будучи поднесена к носу».

Ленин со всем этим соглашается, похваливает, и ему особенно нравится указание, что «вещь в себе превращается в вещь для других». «Это очень глубоко», — замечает он. Ещё немного, и он бы понял — *esse est percipi!*

С уничтожением вещи в себе изымается огромная гносеологическая часть материализма. Канта и Юма, после такой у себя произведённой ампутации, с прежней позиции критиковать уже нельзя. И Ленин понимает это: «Марксисты критиковали (в начале XX века) кантианцев и юмистов более по-фейербаховски и по-бюхнеровски, чем по-гегелевски». О каких марксистах говорит Ленин? О Плеханове и себе.

Уже при жизни Ленина — правителя России — критика его книги «Материализм и эмпириокритицизм» не скажу, чтобы была запрещена, но стала крайне затруднённой. Чтобы не портить себе карьеру, например, Луначарский, призванный на пост комиссара народного просвещения, сделал вид, что эмпириокритиком никогда не был. То же самое

сделал и Берман. В 1920 г. книга Ленина вышла вторым изданием, но он ни одним словом при её выпуске не обмолвился («Философские тетради» никому не были известны), что в ряде пунктов он ушёл от прежних взглядов. В Кремле в свободные минуты он продолжает читать Гегеля, требует, чтобы ему доставили в русском переводе «Логику» и «Феноменологию», а в 1922 г. направляет в журнал «Под знаменем марксизма» письмо, являющееся как бы философским завещанием: изучайте Гегеля, его диалектику, его теорию познания. «Группа редакторов и сотрудников журнала «Под знаменем марксизма», — писал Ленин, — должна быть на мой взгляд обществом материалистических друзей гегелевской диалектики. Мы можем и должны разрабатывать эту диалектику со всех сторон. Без того, чтобы такую задачу себе поставить и систематически её выполнять — материализм не может быть воинствующим материализмом. Он *останется*, употребляя шедринское выражение, *не столько сражающимся, сколько сражаемым*».

Обратите внимание на слова — материализм *останется* сражаемым. Форма выражения дипломатическая, однако ясно показывающая, что Ленин в это время считал материализм на том уровне его разработки, в каком он существовал до сих пор, в частности, в работах Плеханова, — философской теорией очень слабой. Ленин стал прекрасно понимать, что слаб и «сражаем» и тот материализм, который с такой яростью и самоуверенностью он проповедовал в своей книге. За годы, прошедшие со дня октябрьской революции, он опрокинул и раздавил большую часть своих прежних взглядов и истин, заменив их эмпирикой, выраженной формулой Наполеона — «On s'engage et puis on voit». И всё-таки у Ленина не оказалось смелости открыто сказать, что он выбросил вон, как вещь негодную, весьма существенные части его философии 1908 г.

Что же произошло после смерти Ленина? Его «Материализм и эмпириокритицизм», с тем его содержанием, в котором, по убеждению самого Ленина, была не сражающаяся, а сражаемая, негодная часть — стал обязательным Кораном не для одних только коммунистов СССР и советских граждан, а для всех коммунистов и граждан, для всей массы людей, подчинённых диктатуре Кремля. Кто в СССР или в сателлитских странах ныне посмеет заявить, что не разделяет философских взглядов книги Ленина? Если бы в июне 1904 г., когда я спорил с Лениным по поводу его меморандума, — этой пролегомены будущей книги — мне кто-нибудь, например, Лепешинский, сказал, что превращённый в книгу меморандум будет внедряться как священное откровение в головы десятков миллионов людей России, Восточной Европы, Франции, Италии, Китая, Кореи — я рассмеялся бы над «Пантейчиком» или, вернее, сказал бы ему, что анекдот его глуповат и даже смеха не возбуждает. И этот глупенький анекдот превратился в мировую быль! Трудно поверить, но это же факт!

В статье «Что такое махизм, эмпириокритицизм?», помещённой в «Правде» в № от 24 декабря 1938 г. мы читаем:

«Сокрушающий удар по махизму и всем его разновидностям наносит «История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)», написанная под руководством и при личном участии товарища Сталина. В ней вскрыта связь между политическим и философским ревизионизмом, выяснено *всемирно-историческое значение* защиты Ленина в борьбе против русских махистов теоретических основ марксистской партии, подчеркнута роль книги Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» в теоретической подготовке партии большевиков».

Достаточно заглянуть в эту знаменитую «Историю», именуемую ныне «гениальным произведением И. В. Сталина» (см. «Правда» № 1 октября 1951 г.) и убедиться, что Сталин, человек с абсолютным незнанием философии, никак не мог сокрушить «русских махистов», а лишь на двух страничках (стр. 98 и 99 издания 1950 г.) пересказывает то, что о них говорил Ленин. И тем не менее, когда грозный палец Сталина указывает на Богданова, Базарова, Луначарского, Бермана, Юшкевича, Валентинова и их «учителей Авенариуса и Маха», это действительно имеет смертоносное, сокрушающее значение, ибо тогда вопрос о них неминуемо переходит из области философии в ведение ГПУ — НКВД — МГБ. Из перечисленных выше «махистов» — кроме пишущего эти строки — уже никого нет в живых, но борьба с ними, их книгами (это теперь нелегальная, запрещённая литература) имеет «актуальное значение», так как махизм, по словам «Правды», будучи «философией реакционной буржуазии», выступает как один из наиболее непримиримых врагов «материализма», представленного в «гениальной книге» Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».

Коротко говоря, в империи Сталина махизм, эмпириокритицизм официально

признаны «вредительством», вредителями, сталкивающимися с коммунистическим строем мысли и чувств, установленным диктатурой. Вредитель — это человек, который, попав в руки НКВД, может быть обвинён (и должен признаться) в самых невообразимых преступлениях — вызывал засуху, убивал скот бациллами чумы, отравлял советские города микробами. Как далеко можно идти на путях наговора — показывают московские процессы 1937—38 гг., где коммунисты Бухарин, Рыков, Каменев — ещё недавно, в качестве членов Политбюро, стоявшие во главе управления страной, — были показаны как простые шпионы на службе иностранного капитализма. Во что в этой атмосфере сумасшедшего наговора, отсылающего нас к эпохе сжигания ведьм и казний за сношение с дьяволом, превращается «махизм», можно судить по уже цитированному номеру «Правды».

«Махизм, — заявила она, — пытались сочетать с марксизмом так называемые австро-марксисты — О. Бауэр, Фридрих Адлер и др.».

Каков результат этого сочетания?

«Австро-марксисты предали рабочий класс Австрии, подготовив вначале победу в Австрии австрийских фашистов, а затем прямую аннексию Австрии гитлеровской Германией».

Вот что такое махизм! Вот куда приводят идеи, изложенные венским физиком и естествоиспытателем Э. Махом в его книгах «Учение о теплоте», «Механика в её историческом развитии», «Анализ ощущений», «Познание и заблуждение» и других. Э. Мах в письме ко мне (в 1910 или 1911, хорошо не помню, оно пропало), очевидно узнав, в каком виде его изобразил Ленин, писал, что находит непонятным и совершенно странным («unverständlich, ganz sonderbar») тот факт, что в России критика его научных взглядов перенесена на чуждую им политическую почву. Кто бы мог себе представить, что через двадцать два года после смерти Маха — он умер в 1916 г. — кремлёвские философы узрят в его научных работах не более и не менее как скрытую «подготовку» аннексии Гитлером Австрии!

Такие же методы применены и для крушения вредительского «эмпириомонизма» Богданова, а философствующие энкаведисты его упорно называют «махистом», несмотря на то, что «психоэнергетика» Богданова и ряд других тезисов уведут его от «махизма». В 1913—1917 гг. Богданов написал две книги «Тектологии» — с целью представить в них «всеобщую организацию науки». Он анализирует в них (тут замешательство у Авенариуса) стремление нашего мышления к равновесию, но не статическому, а динамическому, подвижному, образуемому в результате кризисов и столкновения различных состояний. Так как Богданов был намечен Лениным во главе листа «распроклятых махистов», не признающих материализма, эпигоны Ленина в желании опозорить имя Богданова и его философию ухватились даже за теорию равновесия, а за слово «равновесие», чтобы заявить, что за ним скрывается вредительская, саботажная, антисоветская, антикоммунистическая политика.

«Эта лживая «теория равновесия», — настаивала «Правда», — была широко (sic!) использована троцкистами и правыми реставраторами для обоснования их контрреволюционных идей. «Теория равновесия» проповедовала равновесие частнокапиталистического и социалистического секторов народного хозяйства СССР, т. е. отказ от переделки мелкотоварного хозяйства, от ликвидации кулачества как класса. Уничтожающий удар «теории равновесия» нанёс товарищ Сталин в декабре 1929 года. Он показал, что «теория равновесия» объективно имеет целью отстоять позиции индивидуального крестьянского хозяйства, вооружить кулацкие элементы «новым» теоретическим оружием в их борьбе с колхозами и дискредитировать позиции колхозов».

Читая подобные вещи, это превращение гносеологических идей Маха, Авенариуса, Богданова во вредительское оружие кулацких элементов, в подготовку гитлеровской аннексии Австрии (аннексируется она-то теперь Кремлём!) — испытываешь чувство, будто находишься среди сумасшедших. Хочется думать, что это только кошмарный сон, — увы, это явь. Все обвинения во вредительстве составляются именно таким сумасшедшим способом, и заметим — все они инспирируются сверху, из Кремля, самим «великим Сталиным». Философию махизма, сверх уже ей приписанных вредительских свойств, он повелел объявить теорией шпионажа, поэтому каждого «махиста» считать врагом народа, шпионом на службе у иностранных капиталистических разведок. Если вы этому не верите — прочитайте следующие строки из той же статьи «Что такое махизм и эмпириокритицизм?».

«Махистами были меньшевики Валентинов, Юшкевич, Гельфонд и к меньшевикам в годы реакции перешёл бывший большевик Базаров, осуждённый в 1931 г. за вреди-

тельство. Был махистом — и всегда оставался на махистских позициях — будущий лидер правых реставраторов капитализма, враг народа, фашистский шпион Бухарин. Его сообщники по гестапо Рыков и Каменев, переходившие в лагерь врагов партии во все трудные моменты борьбы, занимали примиренческую позицию по отношению к махизму».

Политический вывод из всего этого совершенно ясен: лица, заподозренные в «сочувствии» к гносеологии, теории познания, венского учёного Э. Маха и цюрихского философа Р. Авенариуса, подлежат ввержению в подвалы Министерства государственной безопасности или заключению в какой-нибудь концлагерь. В 1938 г. лицо, слышавшее о моих спорах с Лениным в 1904 г., вероятно, рассчитывая меня уколоть, сказало: «А от большевизма вы ушли только из-за разногласия с Лениным по философским вопросам». Положим, что не только из-за этого, но если бы даже это было и так, можно ли, зная, что произошло после 1904 г., считать спор с Лениным каким-то не имеющим важности *«только»*? От ленинского меморандума к книге «Материализм и эмпириокритицизм» — небольшой шаг, а от этой книги идёт уже прямая, хорошо выглаженная бульдозерами дорога к государственной философии, опирающейся на ГПУ — НКВД — МГБ. Это совсем не *«только»*!

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЧИТАЙТЕ:

**Лев Шестов. О «ПЕРЕРОЖДЕНИИ УБЕЖДЕНИЙ»
У ДОСТОЕВСКОГО**

«Бессильная любовь к людям должна неизбежно превратиться в ненависть. Эта страшная истина, открывшаяся Достоевскому, и была началом перерождения его убеждений», — вот отправная точка рассуждений философа, пришедшего в итоге к глубокому выводу о преобразении мироощущения художника, обретшего истинную связь с Богом.